

Веслав Мысливский. Тракта́т о лущении фасо́ли

Перевод Константина Кучера

Главы 5 – 8

5

Нет, я больше не откладывал на саксофон. Вскоре я вообще перешел работать на стройку, и когда получил первую зарплату, купил себе шляпу. Почему шляпу? Не знаю. Может, надо было просто хоть что-то купить, чтобы снова не начать откладывать на саксофон. А шляпа, может потому, что еще в школе я решил купить себе шляпу, когда у меня уже будет саксофон. Саксофон, шляпа, я в ней, как представляю себе (и не раз!) эту картину, так любо дорого посмотреть на этого парня!

Как-то еще в школе нам привозили такой фильм. Большой магазин со шляпами, входят мужчина и женщина, Джонни и Мэри, и этот мужчина хотел купить шляпу. Начал примерять шляпы, а Мэри села себе в кресло и углубилась в какой-то журнал. Это был первый фильм в моей жизни. Поэтому когда он примерял эти шляпы, то у меня было такое впечатление, что он не на экране примеряет, а среди нас, в актовом зале. Или что и все мы находимся в этом магазине, где он примеряет.

Примерял и примерял, а эта Мэри, неземной красоты женщина, как я и говорил, сидела в кресле, уткнувшись в свой журнал. Закутана в меха, закинула ногу за ногу, и каждая нога в элегантной туфельке. Не знаю, согласится ли пан со мною, но ноги – это лицо женщины. И туфельки – должны соответствовать. А уж все остальное может быть значительно скромнее. Неважно, какое у женщины лицо, если у нее ноги – в порядке. Но они обязательно должны быть в хороших туфельках. Нынче редко когда можно встретить такие ноги. Почти все женщины ходят в брюках, а если даже в платьях, то зачастую в таких туфлях, что страсти господни просто. И мало уже какая умеет ходить так, как должна это делать женщина. Видел пан, как женщины сейчас ходят? Так пусть пан как-нибудь обратит внимание. Бросают ноги, как шаг печатают. Солдаты, а не женщины. Даже здесь, разукрашенные, босиком, а большинство ходит точно так же. И нет у них бетона под ногами, только земля, трава. Мне как-то за границей рассказывал один режиссер, что не мог подобрать актрису, которая бы сумела сыграть принцессу. С лицом – все в порядке, а вот походки соответствующей – нет.

Ну и эта Мэри так была поглощена журналом, что на мужчину совсем не обращала внимания. А он примерял и примерял. И с каждой шляпой стоял перед зеркалом все дольше, словно не знал: может, сказать – эта, мол, или снять и попросить другую, или в этой еще посмотреться в зеркало. Уже несколько примерил, но, видимо, ни одна ему так и

не приглянулась, потому как все время просил подать ему следующую. И продавец, словно ничего не случилось, приносил ему следующую, потом снова следующую и следующую. Еще и улыбался, как приносил новую шляпу, улыбался и склонялся в полупоклоне. И, несмотря на то, что мужчина видел себя с головы до ног в большом зеркале, обходил вокруг него с зеркальцем в руке, подставляя ему это зеркальце с одной стороны, с другой, то спереди, то сзади, чтобы тот пригляделся, как он выглядит в отражении этого зеркальца в том большом зеркале перед ним. И одинаково восторженно расхваливал каждую из шляп, которую именно в этот момент примерял мужчина:

– Вот теперь уважаемый пан посмотрит. А теперь. Чуточку на лоб надвинем. Чуточку приподнимем надо лбом. Чуточку на сторону, чуточку так, чуточку иначе. Идеально, просто идеально. Как создано для лица уважаемого пана. Уважаемого лба, уважаемых глаз, бровей и так далее. Идеально.

Сейчас я понимаю, что это была комедия. Только тогда это совсем меня не смешило. Я переживал за каждую шляпу, которую Джонни снимал и отдавал продавцу, как будто лично я сам что-то терял. Наверное, смех зависит не от того, что пан видит, слышит. Смех – это способ защиты человека от окружающего его мира, от самого себя. Лишить его этой способности, и он сразу станет беззащитным. Именно таким я и был. Просто я не умел смеяться. Мне даже казалось непонятным, как вообще можно над чем-то смеяться. В большинстве своем такими же были почти все, кто попал в эту школу. Хотя, должен пан понимать, не все. Некоторые умели смеяться. Даже тогда, когда сидели в карцере.

Так и на этом фильме, некоторые аж надрывались от смеха. Но это был не обычный, не простой смех. За ним чувствовались нарастающее бешенство, горечь. С каждой шляпой, которую примерял мужчина, через этот смех летели проклятия, брань, на него, на продавца, а прежде всего на эту Мэри, что словно утонула в журнале и ничего не посоветует мужчине. А сидела вот, как мы здесь. И нет, чтобы хоть глаза подняла, сказала, ему – хорошо, нехорошо, в этой хуже, в той лучше. И дальше могла бы читать.

Актный зал был битком, мало по швам не трещал, пан может себе представить, что творилось. Не понравилась мужчине какая-то шляпа, сразу крики, топот, свист. И с каждым разом все громче, с каждым разом продолжительнее, тем более, что ни одна из них так и не производила на него должного впечатления. Он опять чуть медлил, прежде чем снова сказать – нет, и эта тоже – нет, потому что – то или то. И продавец в очередной раз сгибался в своем полупоклоне, с неизменной улыбкой на лице и соглашался с ним.

– В самом деле, уважаемый пан прав. Темновата. Уж больно светлая. Не тот оттенок. Не тот фасон. Поля широковаты. Эта шляпа совсем не к лицу уважаемому пану. Ничего страшного. Посмотрим другую.

О, уж тогда-то шум, так шум охватывал зал. Скажу пану, я даже начал бояться. А продавец шел и приносил другую, в надежде, что вот эта, наверное, понравится мужчине. Весь прилавок был завален этими примеренными шляпами, потому что, чтобы мужчина не ждал слишком долго следующую, продавец откладывал все примеренные шляпы в кучу на прилавок. Если не видел такого, никогда не представил бы столько шляп за раз. И все для одной единственной головы какого-то Джонни. Если бы еще хоть кто-то другой был. Но не было никого другого. Если бы я или пан были. Извиняюсь, конечно, не хотел бы пана обижать, но ведь продавец не знал бы, кто пан такой, если бы он вошел и сказал, что хочет купить шляпу. Тем более, если бы я вошел. Но пана, вполне возможно, что и узнал бы. О, шляпники – весьма проницательный народ. Знал я одного такого.

При любом раскладе, хоть нас там и был полный актный зал, никто не знал, кто же, в конце-то концов, этот Джонни. Даже мы не догадывались. Разве что продавец знал. Или в конце фильма это как-то должно было бы проясниться. После примерки очередной из этих шляп мне пришло в голову, что шляпа – не такая уж и обычная вещь, хотя и кажется просто головным убором. Когда фильм идет и идет, а ее все примеряют и примеряют, то, наверное, не такая уж и обычная.

Раз привезли нам в школу одного такого, вытаскивал кролика из шляпы. А кролик взял и убежал от него, ну мы все и ловили ушастого. И хоть опять же, и в этот раз нас был полный актовый зал, насилу его поймали. Белехонький, пушистый – ангора, весь дрожал, так был напуган, несмотря на то, что умел исчезать и появляться, раз – в этой шляпе, а раз – и нет его в ней. Или, может, это в самой шляпе было дело, уже тогда начал я сомневаться.

Больше того, скажу пану, актовый зал словно принял на себя роль этой Мэри, которую ничего не волновало и не касалось, и когда мужчина примерял следующую шляпу, все срывались с мест, уговаривая его, чтобы эту, эту купил, которую в тот момент как раз примерял. А когда и на этот раз не решался и просил следующую, насканивали на продавца, чтобы не приносил ему больше, эту, эту пусть купит или вообще тогда – никакой.

Но продавцу, видно, хотелось, чтобы мужчина по итогу все-таки купил, и он с традиционным полупоклоном и с этой самой улыбкой приносил ему следующую. И тогда, словно вымещая на них то разочарование, которое испытывал зал, в обоих летели самые немыслимые проклятия. Стыдно было бы повторять. Словно камнями бросали ими то в одного, то в другого. Ты такой-сякой, покупай или!.. И намного худшее. Ты такой-сякой, не приноси ему больше! Пусть эту купит, что на голове у него! Выбрось это противное рыло из магазина! Чтобы ему еще и зеркальце под морду подставлял?! А вот такого он не хотел?! Словно сами возбуждались от этих проклятий, потому что когда мужчина просил следующую шляпу, зал взрывался еще более дикими воплями.

Актальный зал, как это обычно бывает в бараке, был небольшой, так весь дрожал: стены, окна, потолок, казалось, что вот-вот, сейчас развалится. Экран свисал с потолка где-то так на три четверти стены, а у противоположной стены, за нами, стоял проектор. Старшие, среди них и несколько учителей, сидели на скамьях под боковыми стенами, а мы все на полу. Сноп света из проектора бил почти прямо над нашими головами. Поэтому некоторым мало было этих воплей, свистов, проклятий, они подхватывались с пола и вскакивали в этот сноп света, размахивая руками, словно хотели сбросить у мужчины с головы шляпу, которую именно он примерял, а у продавца выбить из рук, когда он нес ему следующую.

Не знаю, может ли пан себе все это представить. То уже была буря, буря, не смех. Учителя покрикивали, спокойствие! спокойствие! Но и это не сильно помогало. Может, они уже и сами испугались. Особенно, когда и старшие, из тех, что сидели на скамьях, тоже посрывались с мест и здесь же у самого экрана в снопе света преграждали дорогу продавцу, не давая пройти ему к мужчине.

– Куда?! Куда?!

Но продавец проходил через них как сквозь туман, подавая мужчине следующую шляпу и забирая у него ту, которая и на этот раз ему не понравилась. В конце концов, добрались и до Мэри. Ты такая-сякая, оставь этот журнал! Скажи ему, чтобы купил эту, что примеряет! Даними ты эту ногу! Пошевелись! Толкни его в зад, в кость, в... Ну, в это самое место. Не буду уж пану дальше повторять. В определенный момент даже показалось, что сейчас ворвутся на экран, разгромят магазин, побьют продавца, побьют мужчину, и с Мэри, вполне возможно, сдерут меха, сорвут платье и будут насиловать. Тем более, что были у нас в школе и такие, которые именно из-за таких дел оказались в ней.

Учителя пробовали навести порядок. Мы прервем фильм! Голь перекатная, а не молодежь! Завтра все к докладу! Мы поквитаемся с вами! Все это приводило к еще большему раздраю. И если не закончилось каким-то несчастьем, так благодаря исключительно продавцу. Он один сохранял хладнокровие и со своим традиционным полупоклоном и с этой самой улыбкой на лице подавал мужчине следующую шляпу и следующую. Но мужчина надевал ее на голову и смотрел на себя в зеркало даже без тени доброжелательности по отношению к себе. Словно сомневался по поводу той или той. Долго всматривался в зеркало, как будто и сам уже не верил – он ли, действительно, стоит в этой шляпе перед зеркалом. И в очередной раз казалось, что уже не будет отказываться, скажет – вот эту, пожалуйста.

Причем совершенно непонятно – почему, так как, по мнению зала, именно эта ему никак не подходила, и его мнение выражалось новой волной свиста, топанья, выкриков. О, пугало огородное! О, старый перец! О, выглядит-то как!.. И выливалось в громкое: Нет! нет! нет! Но мужчину это не останавливало, даже создавалось впечатление, что он дразнит зал, продолжая эту примерку. И даже вопреки мнению актового зала, вот эту именно купит, несмотря на то, что и сам себе в ней не нравится. Улыбался своему отражению в зеркале самыми разными улыбками, от ухмылки, когда губы едва раздвигались, до настоящего широкого оскала, когда были видны оба ряда ровнехоньких белых зубов, которые только в фильмах и показывают. Известно ведь, какие обычно зубы у людей. Большинству никогда не стоит даже усмехаться, а может, и говорить. Сдвигал шляпу на затылок. То опять надвигал на лоб, напуская на лицо какую-то таинственную мину. То наклонял шляпу на левый бок, на правый, словно хотел быть похожим на кого-то, кого видел в другом фильме. Или подходил так близко к зеркалу, что чуть ли не касался его и смотрел себе глаза в глаза, шляпа в шляпу. Или вдруг отходил подальше и внимательно осматривал себя всего от туфель до шляпы. Засовывал руки в карманы брюк, то одну, то другую или обе разом, принимая самые разные позы. Или поправлял себе галстук, одергивал пиджак и выпрямлялся, стоял ровно, как столб. Когда казалось, что смотрит на это свое отражение с омерзением, а когда – что уже готов бы и согласиться с этой шляпой и даже с самим собой, но не хватает ему воли. И, беспомощный, он обращался к утонувшей в журнале Мэри:

– Как ты думаешь, Мэри? Посмотри. Нравлюсь тебе в этой? Правда, неплохая? – Но Мэри, даже если и поднимала глаза, тут же, без слов, опускала их, снова уставившись в журнал. И мужчина с грустью отказывался: – Нет, и эта, к сожалению, тоже – нет.

В такие минуты и мы в зале делили с ним эту его печаль. Это становилось понятно по шорохам на полу, лавках, потому что все вдруг начали шевелиться. Но никто не засвистел, не выругался, не засмеялся. И эта печаль не была обычной печалью. Задушил бы эту курву, слышался чей-то расстроенный шепот. Простите, это были самые обычные слова в школе, в другие никак не удавалось вставить того или этого. Так как никто не мог понять, почему Мэри ничего не волнует. Что, так трудно сказать – да, нет, тем более, речь идет всего-навсего о шляпе?

Мэри, когда поднимала взгляд от журнала, когда нет. Но даже если и поднимала, то с каждым разом все с большей и большей неохотой. И каждый раз это вызывало в зале все усиливающееся возмущение. Мы все были убеждены: это ее вина в том, что мужчина никак не может решиться и выбрать одну из уже примеренных шляп. Хотя, если задуматься, то в чем она могла быть виновата? Сидела себе спокойно, только и делала, что просматривала журнал. Но хватило и того, что мужчина обращался к ней: посмотри, Мэри, как тебе, Мэри, что скажешь на это, Мэри. Зал словно лихорадка била. Он уже был не просто в бешенстве, а в бешенстве, смешанном с беспомощностью, болью. Может, даже с отчаянием. Так-перетак на эту Мэри. Но за что? Ее-то за что? Пусть пан сам скажет, за что? Ведь это мужчина примерял шляпы. И если он сам себе ни в одной из них не нравился, то Мэри-то в чем виновата?

А он мог так в этих примерках запутаться, что уже ни в одной шляпе сам себе не нравился. Ни в одной из них! Может, он уже не только примерял эти шляпы, а спорил с ними. Только о чем человек может спорить со шляпами? Пан говорит – о себе? Но так шляпа будет всегда права. Ее будет верх. Любая из тех, которые он примерял, была на его голове. Над ним. И не имеет значения, снял он ее со своей головы, нет, или дальше примерял, или даже всматривался в себя с надетой шляпой перед зеркалом. Результат-то – один и тот же. Мог бы весь фильм примерять, до бесконечности, все одно, это не имело бы никакого значения. Такая примерка заканчивается только тогда, когда заканчивается все и наступает конец всего.

Что правда, этих шляп было, о, было. Это был такой, не обычный магазин. Где бы пан ни посмотрел – везде шляпы. Еще и подносил продавец раз за разом следующие из под-

собки и все время с новым приливом надежды, что та или эта, наверное, понравится уважаемому пану. Так что этих шляп хватило бы, чтобы уже и продавец потерял всякую надежду.

Но, вполне может быть, что раньше ее потерял бы сам мужчина. Тем более, что признаки разочарования, отсутствия желания продолжать, уже были видны на его лице, в его движениях, когда в следующей шляпе он смотрел на свое отражение в зеркале. Надевал и снимал шляпы, словно нехотя. Не благодарил уже, не извинялся. Брал из рук продавца следующую шляпу, которую тот ему подавал, отдавая ему ту, что снимал. Как бы всего лишь переносил шляпы из рук продавца на свою голову и со своей головы в руки продавца, практически не глядя на себя в зеркало. Должен был бы уже прервать эту примерку, но скорее всего, ее уже нельзя было остановить. Или может, ему стало жаль продавца, столько этих шляп и все напрасно. Поэтому все время примерял и примерял.

Наконец, с какой-то шляпой – ни хуже, ни лучше тех, что были до этого, когда мы уже были уверены, что он опять ее снимет и скажет, следующую, мол, но нет, заколебался. Опустил руки, подошел ближе к зеркалу и стоял так, застыв перед этим своим отражением, с неподвижным лицом, на котором была видна мука: снять, не снять, снять, не снять, снять, не снять. Зал замер. Тишина стояла, я говорю пану, словно у всех сердца остановились. Чувствовалось только, что напряжение, пока он так стоял, растет и растет. Пока в какой-то момент ожидание не перешло за тот предел, когда уже не имеет значения, снимет или не снимет, поскольку он оказался в таком положении, что ни снять, ни оставить ее на голове уже не было никакой возможности. Единственный выход, который у него оставался, так это вытащить пистолет и выстрелить в себя в этой шляпе. Что правда, продавец уже ожидал его со следующей шляпой в руках, с той самой улыбкой на лице, согнутый в полупоклоне, что как бы свидетельствовало о том, что он даже мысли не допускает о таком повороте событий. Но мы в зале требовали именно этого, чтобы вытянул пистолет и выстрелил в себя в этой шляпе. А перед этим пусть бы назло Мэри сказал:

– Заплатишь пану, Мэри, за шляпу.

Как знать, может, еще бы минута и вытащил бы пистолет, приложил бы его к шляпе, но вдруг неожиданно Мэри защебетала возбужденным голосом:

– Ох, послушай, Джонни, здесь как раз пишут, что в этом сезоне для мужчин самые модные – коричневые, фетровые. Примерь коричневую, фетровую!

– Да я уже примерял коричневую, фетровую.

– Но здесь пишут!

Кто-то мог бы подумать – в этот момент раздастся выстрел. И я тоже так решил, когда пробовал себе представить, как этот фильм мог бы закончиться. И это было бы оправданно. Нельзя ведь без конца примерять. Даже шляпы. Может, пан видел этот фильм? Жаль. Тогда бы пан сказал мне – купил ли, выстрелил. Я уже этого не видел, электричество отключили, и фильм оборвался. О, нам постоянно отключали. Чаще всего по вечерам. И редко когда случалось, чтобы сразу же и включили. В лучшем случае, только через час, два. Чаще всего, если отключали вечером, то, самое раннее, включали под утро.

Не раз мы возвращались с работы, едва перебирая ногами, так нам еще по дороге говорили запевать, а здесь света не было. Мы, к примеру, дробили камни на дороге, пыль, жара, всех жажда замучила, все пропотевшие, со слипшимися волосами, а здесь света нет. Ни помыться, ни поесть. Раздеваться и то – в темноте. Но к утру и мундир, и ботинки должны были быть вычищены, потому как на другой день – уроки, а на уроках ты должен выглядеть как ученик. А на смену у нас не было ни мундиров, ни ботинок. Их нам меняли только тогда, когда мундир или ботинки невозможно уже было залатать или починить. Время же, чтобы что-то постирать, пришить, заштопать, было только по вечерам. А тут света нет.

Как-то учитель музыки принес нам громницу¹¹, которую купил для себя. А почти перед самым Рождеством парни где-то украли пакет свечей на елку. Но прежде чем пришло Рождество Христово, мы их все сожгли, потому как почти ежедневно отключали. И у нас была елка без свечей. Да, нам разрешали. Стояла в актовом зале. Деревце вырубали в лесу, чем-то его украшали, мы сами делали игрушки, гирлянды, серпантин. Только что без свечей, одна елка. Пан любит елку? Я тоже любил. Но на ней должны гореть настоящие свечи. Могла быть даже скромно украшенная, но свечи обязательно должны гореть. Мы, дети, всегда зажигали, по старшинству, только наоборот, первым я, как самый маленький, потом Леонка, Ягода. Нет, я мог зажечь и на самом верху, отец брал меня на руки и поднимал. Естественно, это были настоящие свечи, горевшие живым пламенем. Они должны быть настоящими, чтобы и елка была настоящей. Я, хоть и был электриком, но, честно скажу пану, не люблю электрических. Нынче все электрические, но это, как по мне, не свечи. Мертвые свечи.

Сочельник всегда начинался с зажжения свечей на елке. Потом мать накрывала стол белой скатертью и приносила еду. Еды всегда было двенадцать блюд. Прежде всего, мы ломали облатку¹², а потом уже все садились вокруг стола. За праздничным столом в сочельник у каждого было свое постоянное место. И каждый старался так есть, чтобы, упаси господи, не запачкать скатерти. Даже дедушка набирал в ложку самую малость, чтобы не капнуло, не выпало из нее. И как никогда ел тихонько, не хлебал, не чавкал. Даже бабушка его хвалила, вот, если бы ты так каждый день ел.

О, это была такая, не обычная скатерть. Ее мать накрывала только к Сочельнику. Сама ее выткала, вышила, и предназначалась она только к этому празднику. Каждый знал, скольких трудов стоила эта скатерть матери. Лен она сама засеяла, на самом лучшем куске земли. Засеяла редко, чтобы каждому стеблю было вдоволь солнечного света. Потом ежедневно выходила смотреть, как растет. Едва какой-то хвощик начинал вылезать из земли, вырывала его под самый корень. Так что, говорю пану, когда тот лен вырос, статным был. Сама его серпом сжала. О, вот именно, пан ведь не знает, что такое серп. Серпом потому, чтобы не поломать стеблей. Потом долго сушила лен на солнце, потом еще в овине. А потом, связанный в вязанки, закрепленные вбитыми в дно колышками, вымачивался в Рутке, в том месте, где самое быстрое течение. И опять сушила. Потом мяла его мялкой. Не буду уже объяснять пану, как выглядела такая мялка. В других местах ее называли паждзерница¹³. Грубые или короткие волокна сразу отбрасывала. А сколько потом было еще трепанья, вычесывания, нет, пан себе даже представить не может. Пока не осталось волокно, тонкое, как паутина. Так бабушка на каждый Сочельник говорила, что эта скатерть вытка-на из паутины.

Когда уже выткала полотно, несколько раз стирала его и сушила, стирала и сушила. А было солнце, расстилала под солнцем на траве, чтобы стало еще более белым. Хотя, даже представить себе трудно, чтобы могло быть белее. Почти целое лето, изо дня в день, если только было солнце, расстилала под этим солнцем. И лишь зимой занялась вышивкой. Скатерть должна была быть готова на этот Сочельник, но она вышивала и вышивала, так что была готова лишь к следующему. По этой скатерти научила вышивать и Ягodu, и Леонку. Целый райский сад вышила. Более богатый и красивый, чем можно увидеть на многих образах. Дедушка, уже после еды, любил водить пальцем по этой материной вышивке.

– Там будем, – говорил. – Посмотрите, там мы будем.

Что мы ели на Сочельник? Прежде всего, по небольшому кусочку сушеного сыра с мятой. Потом жур на грибах с гречневой кашей. Вареники с капустой и грибами. Отварная картошка в мундирах с солью. Запивать ее – жур из сыворотки. Вареники с сушеными

¹¹ Громница – большая, толстая освященная свеча

¹² Облатка (рождественский хлеб) – тонкий листок выпеченного пресного теста.

¹³ Паждзерница (paździerznica) – от польского паждзерник (październik) – октябрь, соотносимого с тем осенним месяцем, когда обычно проводилась эта технологическая операция обработки льна.

сливами, посыпанные орехами, политые сметаной. Галушки с маком. Рыба отварная или жареная. О, рыб было в Рутке, пан не поверил бы, какая это была рыбная река. Половины от того, что было, теперь нет в заливе. Я ведь вижу, приезжают сюда рыболовы, и сидят, сидят сиднем со своими удочками. Порою пойду посмотреть, так редко у которого затрепыхается какая рыбешка на крючке. А в Рутке можно было лукошком ловить. Опускаешь лукошко в воду, поближе к берегу, и палкой начинаешь баламутить воду у нор в обрыве, так каждый раз обязательно что-то да попадется. Перед Сочельником, когда Рутка замерзала, вырубалась полынья, заводилась в нее сеть. Ну а дальше – ждать, пока не попадется в нее рыба. Потом капуста с горохом или одна капуста, заправленная льняным маслом. Если одна капуста, то отдельно – фасоль с медом и уксусом. А если с горохом, то фасоли уже не было, только бобы. Зеленые, в стручках. Потом клюквенный кисель. И под конец – компот из сухофруктов.

Мы чуть ли уже не лопались, так наедались, хотя всего было понемногу. Ну, а потом шли на Пастерку¹⁴. Мы, дети, как правило, уже на ходу засыпали, потому что Пастерка была в полночь. Но и нам надо было идти. Вот тогда, перед уходом, гасили свечи на елке. Скажу пану, для меня не еда, только эти свечи словно подтверждали, что это – Сочельник. Когда они так горели, я был готов во все поверить. Верил в эту материну скатерть и в то, что говорил дедушка, когда водил пальцем по этой вышивке, будто мы там будем. Порою мне даже казалось, что мы уже там.

Может, с той самой поры у меня на всю жизнь осталась эта любовь к горящим свечам. За рубежом как-то был на приеме, так там тоже, кроме люстр, бра, и свечи горели, так этот прием я до сих пор помню. Если кого-то приглашал к себе, тоже свечи должны были гореть. Если гости уходили, а свечи еще горели, я не тушил их. Сидел, пока они сами по себе не сгорали. Не поверит пан, меня всегда охватывает досада, когда надо погасить свечу. У меня при этом складывается такое впечатление, словно я безвозвратно обрываю ее жизнь. Будто бы что-то моментально заканчивается, но в продолжение уже ничего не начинается. Словно в себе что-то потушил. Не знаю, как это объяснить пану.

Скажу так. По мне, что-то такое есть в горящей свече. Может все. Как в капле воды есть вся, всякая вода. Пусть пан когда-нибудь сам попробует потушить свечу.

У меня есть два подсвечника. Серебряных. Я их купил еще за рубежом. Словно знал, что пан ко мне когда-то придет. Не сейчас, так когда-то, но обязательно пан придет. Может, принесу их? Они там, в комнате. Стоят на шкафу. Вставляю свечи, мы их зажжем, посмотрим, как горят, и пан удостоверится в том, что я сказал. Иногда я заходил в антикварный магазин, что находился в той же самой многоэтажке, где была и моя квартира. Так просто заходил, без всякого повода. Любил посмотреть на разную старую мебель, картины, предметы. На всякие там серванты, комоды, секретеры, зеркала, лампы, часы или даже чернильницы, пресс-папье, ножики для разрезания бумаги. Ведь если задуматься, то сколько же в этих всех вещах, мебели, предметах кроется человеческих прикосновений, взглядов, сколько биения сердец, вздохов, печали, плача, ужасов, естественно, и смеха, взрывов радости, хотя этого намного меньше, этого всегда меньше. Или сколько слов, пусть пан только подумает. И этого всего уже нет. Но на самом ли деле нет? Так, например, ступа для измельчения перца, корицы, гвоздики, когда я ее касался, пусть пан мне верит, она словно что-то мне говорила. Только что – того не дано было мне услышать.

Извиняюсь, конечно, но спрошу пана. Неужели у него никогда не было такого желания, чтобы жить и тут, и там. Неважно, когда. Никогда, даже на минутку? О, даже минутка и она – важна.

Как-то антиквар, всегда приветствовавший меня усмешкой, подошел ко мне, спросил:

¹⁴ Пастерка – месса (основная литургическая служба в латинском обряде Католической Церкви) накануне Рождества

– Прошу пана, может, он мне ответит, он ведь уже не первый раз заходит, я его знаю, но пока пана так ничего и не заинтересовало. Может, пан ищет чего-то особенного, так пусть скажет, чтобы я имел в виду.

И хотя я не собирался ничего покупать, неожиданно даже для самого себя ответил:

– Ищу какой-нибудь приличный старинный подсвечник.

– О, подсвечников у нас хватает. Вот, прошу, взгляните, – показал на шкафы у стены. – Латунные, из бронзы, фарфора, майолики. Лакированные, серебряные. Какой только пан пожелает.

И он начал открывать шкаф за шкафом, хотя этого можно было бы и не делать, все шкафы были с застекленными дверками, стоявшее на их полках и так было хорошо видно. Достал из одного шкафа какой-то подсвечник, подsunул мне его под самые глаза и начал расхваливать: – Может, этот пану нравится? – достал другой. – Пожалуй, и на этот стоит обратить ваше внимание.

– Нет, нет, – говорил я по каждому из тех, которые он доставал. – Все эти я уже видел. Не первый раз ведь захожу к пану.

– Да, так и есть, – подтвердил он. И тут же спросил: – А если пара?

– То, что надо, – ответил я. – Как раз пару и ищу.

– О, тогда у меня есть что-то для пана. Спросил потому, что речь о подсвечниках, которые не идут по одному. Пара – как одно целое.

И из неостекленного массивного шкафа, закрытого на ключ, который он держал в кармане жилетки, достал ту пару, которую я потом и купил. Поставил ее передо мной.

– Прошу, присмотритесь. Или пан ищет не такие? Я сразу понял. Барокко. Венеция. Искусная работа, пан и сам признает. Но должен предупредить пана...

– Догадываюсь, – я прервал его. – Цена – не суть важно. Упаковывайте.

Вероятно, он не ожидал, что я куплю, потому что, уже пакуя эти подсвечники, еще убеждал меня:

– Чудо, что они сохранились до наших времен. Тем более, в паре. Можно только представить себе, какая была у них судьба. О, судьбы предметов так же интересны, как и людские. И так же трагичны. Если бы, к примеру, воссоздать судьбу этих подсвечников. Не историю, именно судьбу. Мы могли бы тогда многое узнать о людях, которые ими владели. И это была бы память о мимолетных, быстротекущих мгновениях их жизни, но кто знает, может, именно они – самые важные, те, о которых мы не узнали бы ни из каких документов. Просто потому, что порою человек может рассчитывать на то, что только окружающие его предметы, вещи, поймут его. Иногда вещам доверяют то, чего не доверили бы никому другому. Иногда только они умеют жить с нами в согласии. Я желаю пану, чтобы эти подсвечники... И, приглашаю пана. Заходите.

Может принести, пан бы посмотрел? Я зажег бы свечи. Пан говорит, что для лущения фасоли нам достаточно и того света, что есть. Он меня плохо понял. Речь не шла о том, чтобы стало светлее, а нам – виднее. Иногда я не хочу читать, не хочу слушать музыку. Когда вот так, как сейчас, осенью или зимой, длинные вечера, а я с этими собаками, то бывает, что и здесь, на кухне, принесу подсвечники, вставлю свечи и смотрю, как они горят. И когда я так смотрю, как горят, скажу пану – перестаю ощущать, что это я смотрю. Словно здесь кто-то еще, помимо меня. Не знаю кто. В конце концов, это и неважно. Собаки лежат, как и сейчас, у стены, в сумраке, спят, или делают вид, что спят, а передо мной проходит вся моя жизнь и с каждым разом все большее спокойствие охватывает меня. Я становлюсь безразличным не только к себе, но и ко всему миру, к тому, что он вот такой, а не иной. У меня даже появляется ощущение, как будто я себя отыскал в неизвестном мне порядке. Хотя, видит пан, казалось бы, обычные свечи. Горят себе и молчат. Но может, в этом их молчании есть что-то большее, помимо молчания, как пан думает?

О, то был настоящий бунт. Само собою, мы бунтовали и раньше. Как можно быть молодым и не бунтовать? К тому же – еще и в такой школе, как наша. К бунтам было просто огромное количество поводов. По самым разным причинам. Из-за еды, потому что кормили нас из рук вон как. Или против наказаний. Например, у кого-то не было пуговицы на кителе мундира, а мы целым отрядом полдня должны были стоять по стойке смирно. Как-то погнали нас на расчистку снега без рукавиц – тоже в наказание. А мороз был знатный, трескучий.

Но все это не было какими-то большими бунтами. Раз, под вечер, мы вернулись с работы, а здесь света нет. И уже не первый раз. Так мы решили, что не пойдем на уроки, не пойдем на занятия в мастерских, не пойдем ни на одну работу. Мы собрались в актовом зале, сели и сидели. Нам не дали обеда, не дали ужина, а утром, когда мы не вышли на переключку, не дали и завтрака. Думали, что возьмут нас голодом. Только не учли, что каждый из нас был с голодом запанибрата. Можно сказать, ни в чем мы не были так искушены, как в голоде. Не один из нас, благодаря именно ему, пережил войну, потому что с жизнью его связывал голод. Голод доказывал, что человек еще жив. Голод будил, голод усыплял. Голод обнимал, утешал, ласкал. Не раз голод был единственной нитью, что удерживала нас в этой жизни, потому что все, как я уже говорил, были неизвестно откуда.

Три дня это продолжалось. Приходили учителя, уговаривали нас, убеждали, угрожали, что все плохо закончится. Появился и сам комендант. Весь обвешанный медалями, в офицерском поясе с портупеей, только на торжества так наряжался. Начал спокойно, можно даже сказать, по-отечески, что должны понять. Не осуждает нас. Знает, что это такое, быть без света. Им, то есть учителям, тоже отключают. Даже ему, хоть он и комендант. Но ведь должны знать, что все мы зализываем послевоенные раны. Уж кто-кто, а мы-то должны знать. Электрической энергии производится еще мало, а потребности огромны. Фабрики надо ввести в строй, металлургические заводы, шахты, больницы, школы. Наша школа – тому пример. Долго нам подсчитывал. А сколько электричества нужно городам, и не только домам, но и улицам. Скоро оно и селу будет необходимо, потому что уже началась электрификация, которая окончательно ликвидирует извечное неравенство между городом и селом. Ведь и нас в этом направлении учат, часть учеников выйдет из школы электриками. Разве не важное и почетное задание нам дано? Пусть встанут будущие электрики! Никто не встал. И это его как бы немного остудило. Но откашлялся и потянул свое дальше. Почетное задание. Как раз для наших молодых сердец, для жара нашей молодости. Так сам себя раскочегарил, аж медали у него на груди подпрыгивали. Нужно отдать должное, оратором он был отменным. Поэтому должны понимать, что страна еще не в состоянии. Не может, чтобы каждому по его потребностям. Но постепенно, потихоньку, благодаря нашей работе, энтузиазму, терпению мы подойдем к этому. Ну и благодаря науке, потому как наука – это залог нашего могущества. И прежде всего от нас, молодых, будет зависеть, кто выиграет уже эту мирную войну, которая продолжается, идет сейчас и от которой зависит наше будущее. Но уже сейчас он, комендант школы, может пообещать нам, что это мы ее выиграем.

Все меньше и меньше мы понимали из этого. А что продолжается уже какая-то новая, хоть и мирная, но все-таки война, так вообще выходило за рамки нашего представления. В любом случае, никто о ней не знал. После чего опять вернулся, что должны понять и должны понять. И не должны отплачивать школе неблагодарностью. Школа взяла нас под свое крыло, окружила заботой, заменила нам дом, семью, создала нам условия, чтобы мы выросли...

Вдруг его прервал чей-то свист и все разом, словно сговорившись, начали кричать:
– Не хотим вырастать! Не хотим! Не хотим! Хотим, чтобы свет нам не выключали!

Замер, словно его поразило. Но, однако, ненадолго. Перекрывая своим голосом наши крики, тоже начал кричать:

– Здесь есть вожаки! Здесь есть вожаки! Укажите на них! Мы вас простим! Я хочу знать вожаков!

Но тем только вызвал еще более сильный свист, топот, крики. Остался недоволен нами. Начал метаться, трясти головой, размахивать руками. Лицо его стало красным, как помидор. Казалось, еще минута и кровь брызнет у него из глаз, потечет из носа, рта.

– Всем встать! Смирно! Я вам устрою дисциплинарное наказание на плацу! Уж мы с вами поквитаемся! У нас есть на то способы! Голь перекатная! Уголовщина! О каждом из вас мы знаем, что у него на совести. На каждого есть бумаги! Злочинства! Поджоги! Насилие! Убийства! Все мы знаем. Мы вытащим все это из-под спуда! Мы вышлем вас туда, где вы должны были быть с самого начала! Бунт недопустим! Для таких не школы – приговоры, тюрьмы! Иначе мы никогда не очистим страну от порченной, зараженной крови! Молодость не может быть оправданием! Врагов нужно истреблять независимо от возраста! Истреблять безо всякой пощады, истреблять! И чем раньше, тем лучше!

– Лучше всего в колыбели! – выкрикнул кто-то из пацанов, сложив ладони рупором.

Зал взорвался смехом. Он онемел. Глаза у него словно обездвижили. Спокойно, но чувствовалось, едва сдерживаясь, бросил, как приказал:

– Кто посмел?! Пусть немедленно встанет! Пусть хватит у него на это смелости! Я жду! Ну?!

Сделалось тихо, как будто этот смех расстреляли. Вытащил часы и, держа их в руке:

– Ну? Я даю ему десять секунд. Если не встанет...

И мы встали все, весь зал, как один. Повел по нам бешеными глазами.

– Ах, вот как, – заревел. – Ну, подождите!.. – и чуть ли не выбежал из зала.

Мы ждали, рассчитывая на самое наихудшее. Не знали, что бы это могло быть такое, все-таки наихудшее трудно себе представить. Выдвигали самые разные предположения. В конце концов, пришли к тому, что нечего ждать. Убежим. Убежим всей школой. Этой же ночью. Определились, какой барак первым, какой последним. Первый должен был в полночь. За ним, каждый час – следующий. Вечером закончим бунт, разойдемся по баракам, учителя вздохнут, будут спокойно и крепко спать, вот тогда мы и убежим.

Тем временем вдруг неожиданно где-то ближе к полудню в зале появился учитель музыки. Уже немного хмельной, но все одно – вытащил свою бутылку, глотнул и спросил:

– Может, который из вас напился бы? – и сказал: – Прислали меня, чтобы я вас убедил, парни. Но я не умею убеждать. Сам себя не убедил. Я думал, что создам вам какую-нибудь песню. Все бунты оставляли после себя песни. Но, вот беда, голова у меня сегодня тяжелая. Простите. И что тут сделать? Что тут сделать? Вы ведь не будете так просто сидеть. Если бы что-то создал, вы могли бы спеть. А так? Может, начнем попытку с оркестра? Давно уже должен был это сделать. Такое воспитательное задание у меня было с самого начала. Ну, так возьмемся.

Вытянул бутылку, снова сделал глоток. После чего сказал нам разобрать инструменты.

– И станьте, парни, с этими инструментами вон там, – показал в конец зала.

Каждый брал такой инструмент, который ему попался под руку, потому что мы думали, что это будет какая-то забава. До этого он не делал ни одной попытки с оркестром. Время от времени, правда, объявлял нам, что его сюда для этого и прислали. Тем более, еще пьяный, какая уж тут может быть попытка с оркестром. Кто-то из пацанов даже спросил его, можно ли брать и испорченные. Думал, наверное, что скажет «нет», возмутится. Но кивнул головой, можно, мол. Все засмеялись и некоторые даже стали специально брать испорченные.

Я взял саксофон, но он неожиданно меня остановил:

– Саксофон не надо. Саксофон не предусмотрен в партитуре. Тогда, пацаны, еще не было саксофона. Возьми скрипку.

Остались только одни скрипки. У них не было струн, грифы поломаны. И смычка не было.

– Только такие, – сказал я ему.

– Ничего, – ответил он. – Станешь позади всех.

Начал нас устанавливать. Здесь скрипки, там альты, здесь полые деревянные, там жестяные, по эту сторону виолончели, за ними контрабасы и так далее. Мы начали опять смеяться. Уже три дня мы сидели бунтовщиками в зале, поэтому подумали, что он хочет нас как-то развеселить, лишь бы мы не нудили. Но ему было не до смеха. Серьезный, как никогда.

– Не смейтесь, парни, – сказал. – Сегодня и мой день.

Казалось бы, что уже установил нас, а между тем он оставался как бы чем-то недоволен, говорил тому – назад, поменяться местами, этому – чуть назад отодвинуться, тому, наоборот, придвинуться. То ли, может, сам себе все это время не верил, не упустил ли чего. Мы все уже стояли, как нас расставил, а он все еще говорил, чтобы тому отдал скрипку и перешел на его место, а у него взял рог, другому, чтобы поменяться с фаготом на тромбон, то опять, чтобы какой-то отдал флейту и перешел к виолончели, а тот от виолончели к контрабасам. И все время недовольный. Словно инструменты никак не хотели соглашаться с ним. Или, может, мы нарушали в нем его память о каком-то оркестре.

О, оркестр был большим. Мы заняли почти треть зала. А зал, как я уже говорил, был на весь барак. Тех, которые не попали в оркестр и стояли в другом конце зала, было намного меньше. Наверное, он почувствовал себя уставшим от этой расстановки, потому как сел на скамейку.

– Простите, парни, только на минуту. Я должен отдохнуть, – глотнул из бутылки. Вытер платочком пот со лба. Несколько раз глубоко вздохнул. И стал перед нами: – Не смейтесь теперь. Будьте серьезны. Пусть каждый из вас держит свой инструмент, словно на нем играет. Но не пробуйте играть. Я прошу вас, не пробуйте играть.

Очевидно, понял, что еще недостаточно пьян, потому что опять вытащил бутылку и снова сделал глоток. После чего отдал эту бутылку первому попавшемуся из ребят, словно первому скрипачу.

– Положи ее там где-нибудь. Ну а теперь, парни, внимание.

Развел руки в стороны и застыл. Минуту, не меньше, так стоял. После этого поднял руки над собою, и тогда кто-то из пацанов в оркестре опять засмеялся.

– Ради Бога, не смейтесь. Я просил вас. Сегодня годовщина. Потом расскажу. Ну, внимание, еще раз.

Нет, так и не сказал нам, что то за годовщина. Но никто уже не смеялся. Он тем временем снова раскинул руки и так стоял, стоял, словно не мог ни опустить их, ни поднять. Чуть наклонил голову, прикрыл глаза. Мы думали, свалится, потому как ведь уже пришел под хорошим хмельком, да еще пару жаждущих глотков влил в себя уже здесь. Как для пьяного, немного покачивался. Но стоял. В оркестре опять кто-то тихо засмеялся. Но этот смех как бы прошел мимо него. Стоял как стоял, с этими раскинутыми руками, чуть наклонившись, с закрытыми глазами. А в какой-то момент прошептал, но не знаю, услышал ли это кто-то, кроме меня:

– Словно и не жили, парни. Извините. У вас нет рта, рук, только эти инструменты.

И выстрелил вверх руками. После чего размахнулся ими на всю возможную ширину, так что от этого рывка покачнулось тело, разлохматились волосы на голове. И не сдерживал уже этих рук. Увлеченный сам собою, будто бы мы ему играли, уж он вытворял этими руками, скажу я пану. Потом видел разные оркестры, но такого дирижера уже не видел никогда. Другое дело, что когда что-то видишь первый раз в жизни, даже самое обычное кажется необычным. Та же божья коровка, а что уж говорить о дирижере. Но может только такой взгляд и позволяет увидеть настоящее? Учитель музыки, да и то – в такой школе, к тому же пьяница, а здесь – словно птица, которая пытается взлететь на этих руках. Вполне может быть, что мы тогда даже не знали, что есть такое слово – дирижер. Я, по крайней мере, точно не знал. В сельских оркестрах, с которыми до той поры мне приходилось сталкиваться, там кто-то притопывал, кто-то задавал ритм и сами себе играли.

Его руки вытягивались вверх – гей, гей, аж весь оркестр задирает головы. Горбились, чертили какие-то круги, какие-то зигзаги, резали от левой к правой, от правой к левой, сверху вниз, наискось. Театр рук. Я видел когда-то такой театр за рубежом. Только руки, а видишь все, до слез юдоли. Ну а если бы кто-то вдруг сейчас посмотрел на наши руки, как мы лущим фасоль, что бы себе мог представить, как пан думает? Вот именно. Так и он. Потому как музыки ведь не было слышно. Музыкой были только его руки. А что мы ее не слышали, это не имело значения! Он, наверное, слышал. Мы были ему нужны всего лишь для того, чтобы он слышал то, что хотел слышать.

То прижимал руки к груди и в тот же самый момент, словно освобождал их из неволи пьяного тела, выбрасывая далеко вперед. Порой у меня складывалось впечатление, что руки кружат над ним. Над ним, перед ним, ближе, дальше, улетают, прилетают, а он только слухом отслеживает их движения. Может, в конце концов, оно так и было, кто знает. Потому что мы, оркестр, только стояли, как он нас расставил. Скрипачи держали скрипки, подведенные под подбородки, а смычки на струнах, флейтисты флейты у рта и так мы все стояли с инструментами, как заколдованные. Словно он своими руками заколдовал нас. Нет, никто уже не смеялся. Даже те, что не вошли в оркестр, отступили аж к противоположной стене.

А еще я не сказал пану, что когда поднимался на цыпочки, словно вытягиваясь за руками, даже казался высоким, хоть и был среднего роста. Вытянутый, как струна, стоял на цыпочках, подрагивая ладонями где-то там вверху. После чего с этих, простертых вверх пальцев, с того подъема, падал на пятки, прогибался в коленях и вытянутыми руками словно поднимал музыку с пола. Или, может, умолял ее, чтобы и его подняла. Трудно сказать, когда мало что понимаешь, и, тем более, не слышишь ничего. Или выбросил одну руку вверх и так держал ее прямой, вытянутой, а другую вел перед собой широким полукругом и в то же время шевелил пальцами, словно искал что-то в этой музыке.

Мы боялись, что пьяное тело потянет его назад или кинет его на нас, потому что даже трезвый, если бы так наклонился, отклонился, вытягивался, неизвестно еще, устоял бы. И, в самом деле, когда в очередной раз снова поднялся на цыпочки, заколебался на мгновение. Упал бы, наверное. На счастье, кто-то из пацанов, что стояли ближе к нему, подскочил и поддержал его. Он осел прямо у них в руках. Мы подняли его, положили на скамью. Он был бледный как стена, мокрый от пота, не было даже слышно, дышит ли. Кто-то хотел бежать за комендантом. Кто-то звонить в скорую. Но он вдруг как бы улыбнулся нам из-под прикрытых век.

– Ничего, парни, это пройдет, – прошептал. – Слишком много я выпил, как на такую музыку. Если бы вы слышали, парни, что вы играли. Если бы вас слышали. Порою, парни, стоит жить.

Ну, пан и не поверит, расхотелось нам убежать.

А через несколько дней вызывают нас на плац. Видим, стоит автомобиль. А у автомобиля – комендант с учителями. Такой, весь довольный, улыбающийся, опять прямо отец родной.

– Подходите, подходите. Посмотрите, что нам привезли. Лампы. Правда, керосиновые. Все же не всегда надо смотреть только вперед. Хорошо, когда есть возможность время от времени и назад оглянуться. Там тоже можно найти что-то, что и сегодня пригодится. Ну, выгружайте, выгружайте, – и обратился к водителю: – Керосин привезли? Сколько бидонов? В порядке.

Так этих ламп, опять же, было не так много, чтобы осветить всю школу. Вышло по одной на каждый барак. На актовый зал четыре. И по одной для каждого учителя. Некоторые из них были нестандартные. Не ко всем стекла подходили. Но, по крайней мере, было чем посветить, когда электричество отключали. Можно было уже по-человечески помыться, поесть, лечь по кроватям. И даже что-то починить, пришить, заштопать. Нужно это человеку, чтобы хотя бы какой-то свет, но был. В любом случае, по поводу света мы уже больше никогда не бунтовали.

Из-за чего-нибудь другого. Не из-за света мы тогда взбунтовались. Из-за фильма, что прервался. И на таком моменте. Пан, думаю, согласится, что ничего более злобного нельзя было и придумать. Купил, не купил. Выстрелил ли в себя. Еще эта Мэри. Разве о шляпе шла речь? А даже если бы и шла, почему она его предает, какая в этом разница? О, со шляпами тоже надо уметь обращаться. Всю жизнь я ходил в шляпах, до сих пор хожу, так что-то знаю. У меня даже есть несколько таких, что привез себе из-за границы. В одних я хожу ежедневно, другие надеваю в воскресенье, на праздники. А одну я всегда надеваю, когда иду в лес.

Эту собаки больше всего любят. Как надеваю, прыгают, ластятся, глаза у них смеются, они сразу понимают, что идем в лес. Что глаза у них смеются, чему тут пан удивляется? Не так, как люди, но смеются. Я знаю, когда они смеются. Чего пан не понимает? А что здесь не понимать? Были бы у пана собаки, он бы многое понял. Должен был бы даже согласиться, что собаки оказывают нам милость, что живут рядом с нами на этом свете. Поэтому и человек должен им чем-то воздать. Не только тем, что дает им есть и обеспечивает крышей над головой. Так пусть пан тогда скажет, способен ли человек на такую привязанность к собаке, как собака к человеку? Сомневаюсь я. О, это не такая же привязанность. Как по мне, у собак много преимуществ перед человеком. Собаки, к примеру, не ведут войн, не нарушают прав, потому что не должны их устанавливать, ведь они уже заложены в них самих. Не раз слышал, что люди с собаками вытворяют. Выбросили из автомобиля. Вывезли в какое-то отдаленное место, оставили на отдыхе, в санатории. Я видел такую брошенную собаку, когда ездил в санаторий. Подходила к каждому с надеждой, что, может, отыщет в нем человека. Или как этого моего Рекса привязали у пня в лесу.

И потому, скажу пану, труднее понять собаку, чем человека. Откуда в ней такая привязанность, вне зависимости от того человек это или негодяй. Слышал пан, чтобы когда-то собака по собственной воле бросила человека? Вот, пошла себе и не вернулась. Или, например, когда кто-то нападет на нас, слышал пан, чтобы собака убежала? Пусть бы даже была, как Давид против Голиафа, по крайней мере, за штанину схватит, или до кости укусит. О том, что набросится, облает, несмотря на свое бессилие, даже молчу. Или, чтобы больного, а тем более, умирающего, собака бросила, слышал пан? Не мог пан слышать. Бывает, что от печали по человеку и собака вслед за ним умирает.

Мы не можем предугадать даже того, что несет нам день грядущий. Тем более, не чувствуем другого человека. А собака даже смерть чувствует. Чувствует, хотя по ней этого и не скажешь. Вот, как мои собаки, могут лежать спокойно, даже спать. А мы не знаем, почувствовали ли они уже что-то. Обоняние, обоняние. Дело не только в обонянии. Не от обоняния зависит эта собачья способность. От чего? Я не знаю. Если бы знал, вообще бы знал намного больше.

Достаточно сравнить, когда у человека что-то болит, и собаку, когда она болеет. Как будто это не одна и та же боль. Человек, по крайней мере, пожалуется, вздохнет, будет стонать, а собака станет вялой, в худшем случае – не притронется к еде. По человеку даже самая маленькая боль как на ладони видна, а по собаке – только ее терпение. Или если пан посмотрит псу в глаза, что в них отражается? То ли самое, что и в наших, человеческих? Как будто смотрит на то же, на что и человек, но то ли самое видит? Рассуждал пан когда-то об этом? У человека, в зависимости от того, на что он смотрит, глаза расширяются, сужаются, дрожат, усмеваются. У собаки, на что бы она ни смотрела, – стоят на месте. Как выглядит человек в этих собачьих глазах? Думал пан? Таким ли, каким он сам себя видит в зеркале, в других человеческих глазах, в глазах собственного тщеславия или осуждения, в своей собственной памяти, в своих надеждах, страхах, отчаянии? Что собака думает о человеке? Что мои собаки думают сейчас о нас, когда смотрят, как мы лушим фасоль? Первый раз видят пана у меня, не могут не думать. О, проснулись. Что, Рекс, что, Лапша? А мы тут разговариваем себе с паном.

Или сердце. Ведь и у собаки оно есть. Не удивительно, когда о ком-то говорят, что он добросердечный. Или говорят, что у кого-то Бог в сердце поселился. Но глядя на все это,

может ведь и так быть, что Бог хотел бы жить только в собачьих сердцах? Да, и правда, мы не знаем этого. Но допустить – можем. Что мы знаем, по большому счету? Самых простых и обычных вещей не знаем. Собака шерсть вздыбит, а мы не знаем – почему. Хвостом завиляет – не знаем. Заскулит без причины – тоже не знаем. О, нет, никогда мы не сможем почувствовать того, что чувствует собака. А она даже чувствует, кто в каком настроении приходит.

Может, пан удивится, но иногда, хоть на минутку, мне хочется быть собакой. Не совсем, на минутку, не больше. Может, тогда бы узнал, снюсь ли я им. Каждый хотел бы знать, снится ли он кому-то. Пан нет? Хотел бы пан, хотел бы. А откуда пан знает, что никому не снится? Может, просто до сих пор никто не сказал пану об этом. Хотел бы я знать: снюсь ли, и как снюсь моим собакам.

Что бунт? Ага, не дорассказал я пану. Ну что, выключили свет и фильм оборвался. Может, если бы не на этом самом моменте. Может, если бы не эта шляпа. Ну и эта Мэри, само собою. Помнит пан, из-за чего началась Троянская война? Именно. Как только зал погрузился в темноту, раздался общий громкий стон. Но когда показалось, что эта темнота вот-вот взорвется, кто-то из учителей, что смотрели тот фильм вместе с нами, на наше счастье, крикнул:

– Спокойно. Только спокойно! Мы пойдем проверим, наверное, пробки выбило!

И один за другим повышмыгивали из зала. Наверное, подумали, что если пойдут проверять все вместе, дело, скорее всего, окажется именно в пробках. А мы и без них, тем более, сохраним спокойствие. И действительно, несмотря на такой, битком набитый зал, мы, можно сказать, сохранили спокойствие. В конце концов, та же самая злость, что вот – на таком моменте, удерживала нас. Никто не вышел из зала, все оставались на своих местах. Мы сами себе приказывали: спокойствие, только спокойствие, пока не вернутся. И успокаивали друг друга. Одни шикали на других: Тихо там! Спокойно!

И с надеждой мы ждали того счастливого момента, когда кто-то из учителей появится в дверях с триумфальным возгласом:

– Пробки, парни! Как мы и думали! Сейчас их поменяют!

Но время шло, а никто так и не возвращался. Кто знает, вполне возможно, что все как-нибудь само собою разрядилось бы этим ожиданием, если бы вдруг не отозвался кинемеханик. Может, немного пошумели бы, может, даже запели. Но в этой тишине, в темноте его голос прозвучал, как приговор:

– Какие там пробки. Долго ли пробки поменять? Сматываю ленту. Сколько раз, где бы не показывал, если выключат, не было такого, чтобы потом включили.

И тогда взорвалась эта тишина, да так, что, казалось, весь зал разлетится в пух и прах, на малюсенькие кусочки. Свист, крики, вой, топот. Первым делом досталось бедному кинемеханику. И от Бога, и от его Духа. Словно те его слова стали искрой, взорвавшей тишину. Те, что сидели в конце зала, кинулись на него, повалили на пол, начали пинать, бить его ногами. Разбили проектор. Вывалили киноленты из металлических коробок, обернули ими себя, как серпантин. Кто-то вытащил спички и начал эти ленты поджигать, чтобы осветить зал. Да будет свет! К счастью, мы быстро потушили. Он же на себе поджигал.

Пан представляет, что было бы? Потом полетели все стекла в окнах. У кого что оказалось под рукой, а вернее, кто на что наткнулся в темноте, тем и бил. Стульями, скамьями, инструментами.

Я пробовал защищать инструменты. Просил, кричал, вырывал их из рук:

– Оставьте инструменты! Оставьте инструменты! В чем они виноваты?!

Одни приходили в себя, но другие – словно в инструментах только и находили облегчение. Топтали их, разбивали, выбрасывали в окна. Хотели даже рояль выбросить, но, к счастью, он не прошел в окно. Из-за этого, словно в отместку, кто-то вскочил на него и с неистовством начал топтать ногами по клавиатуре. Я был в другом конце зала, когда услышал какофонию звуков, издаваемых в результате этого топота. Как-то протиснулся че-

рез толпу, поймал того парня за ногу. Он схватил меня за шею, начал душить. Мне уже не хватало дыхания, но я свалил его с рояля на пол. Так как руки у нас были заняты – он меня держал, я его тоже, и драться нам было нечем, мы начали кусаться. Покусались до крови. А ведь он мог стать пианистом, у него были способности. Не раз ему об этом говорил учитель музыки.

Большинство инструментов, что выбросили на улицу, в лучшем или худшем состоянии, но как-то уцелели. Из других – мало какие сохранились. К счастью, не на каждый наткнулись в темноте. Тем более, что злость, как известно, ослепляет. Если бы пан потом, при свете дня, увидел те покореженные инструменты, у него бы, уверен, сердце заболело бы. Но ни один учитель так и не появился. Из-за этого, собственно, бунт и разошелся. Пан никогда не принимал участия ни в одном бунте? Даже в таком, школьном? И вообще, пан никогда не бунтовал? Почему так? Мало ли поводов? С самого детства. Как запикивают в нас еду, когда нам совершенно не хочется есть. А с годами, так уже бунт за бунтом можно поднимать. Против школы, потому что кто же, если по правде, хочет ходить в эту школу? Я безотносительно нашей. Она – отдельное дело. И вообще – против жизни, что она – вот такая, а сосем не другая. Против окружающего нас мира, что он – такой, каким быть не должен. Против Бога, что есть он, а у нас его нет. А против самого себя? Тоже никогда?

В конце концов, не обязательно должен быть повод для бунта. Даже не знаю, всегда ли какой-либо бунт вспыхивает именно по тому поводу, который мы ему потом приписываем. Не говоря уже о том, что бывают и такие бунты, о которых мы потом жалеем, что вот, взбунтовались. Только, увы, к тому, что было до бунта, перед тем, как он вспыхнул, уже нет возврата. Что поделаешь, уж такой человек сам по себе – существо непонятное и необъяснимое, все время в нем что-то кипит, он кипятится, а потому, даже не имея к тому ни малейшего повода, все равно будет бунтовать. Сам по себе он является вечным поводом. До конца сотворения мира будет бунтовать. И сдается мне, еще не один бунт ждет этот мир.

Соответственно, кто знает, может, оставив нас одних, наши учителя поступили тогда достаточно мудро. В конце концов, мы должны были бы сами по себе остыть, ведь было понятно, что это – не пробки, так же, как и не было надежды на то, что нам сейчас же включат свет. Только, как это часто бывает, неожиданно в дело вмешался случай. Так и тогда – неожиданно со стены сорвался экран. Пан подумает, что же в этом такого? Но в такой момент все что угодно может вдруг приобрести решающее значение. Может, он был плохо закреплен. И оборвался сам по себе, от одних этих криков, визга, топота, потому, как от них весь барак аж трясся. Ну, кинулись на этот экран, начали его топтать. Словно это экран был виноват в том, что нет света. И тогда вдруг один из пацанов поднял экран с пола и крикнул:

– Пацаны, сплетем веревку! Повесим кого-нибудь!

И все начали повторять за ним:

– Вережку! Вережку! Повесим!

Потом говорил, что с самыми добрыми намерениями. Хотел, мол, чтобы и дальше не ломали инструментов, потому как не на чем было бы учиться играть. Все бы поперелома-ли. А повесить, никого бы ведь не повесили, потому что никого, кроме нас, в школе уже не было. Начали рвать этот экран на полосы, рассуждая – кого. Разные были кандидаты на то, чтобы повесить. Надо понимать, естественно, из учителей, потому как – из кого иначе? В таких случаях всегда учителя лучше всего для этого подходят. Тем более, такие, как наши. Но не было согласия – которого из них. Ссорились из-за этого, но веревку плели. К тому же – в темноте, поэтому и сплели абы как. Короткую, как девичья коса, да и не особо крепкую к тому же. Ну, если прямо сказать, так и экран не очень-то подходил для того, чтобы из него плести веревку. Хлопчатобумажное полотно, как на простыне или пододеяльнике. Как на веревку, так лучше всего конопля. Тогда точно есть гарантия, что не порвется.

Когда дядю Яна снимали, кухонным ножом никак было не обрезать, веревка была плотная, конопляная. Пилили и пилили ее. Пока отец не взял топор и отрубил веревку вместе с веткой, к которой она была привязана.

Вдруг какой-то аж прокукарекал:

– Коменданта, пацаны, повесим!

И весь зал взвыл:

– Уррааа! Коменданта! Коменданта!

Словно комендант и был целью этого бунта. В любом случае, он оказался самым подходящим кандидатом. Ну и, помимо прочего, как бы разрешил своею властью перешагнуть нам очередной барьер. Бунт, который за минуту до этого, казалось, перейдет из ссоры в драку, разгорелся по-новой.

– На коменданта! Повесим такого-сякого!

Кто-то запел:

– Над миром наше знамя веет

Оно горит и ярко рдеет,

То наша кровь горит на нем¹⁵ ...

Ну и надо понимать, для такого бунта актовый зал уже стал маловат. Через двери, окна мы все вывалились на плац, и те, кто был, и те, кто не был за повешение коменданта. Вообще все. Толпой мы двинулись к учительскому бараку, в котором был и кабинет коменданта. Начали скандировать:

– Коменданта! Коменданта! Комендант, выходи!

Нет, комендант не жил на территории школы. Приезжал. И к этому времени его уже никогда не было. Естественно, мы знали об этом. Но бунт так нас ослепил, как будто мы не знали. Неудивительно, что никто к нам не вышел.

Темный барак лежал в тишине. Чтобы в каком-то окне что-то замаячило – нет. Пусто. Словно и никого из учителей в нем не было. Хотя вполне возможно, что все поубегали, как только оборвался фильм. Или сидели так тихо.

Мы ломались во все двери, колотили по всем стенам. Потом, как надоело колотить, повыбивали все стекла в окнах. И никого. Ни живой души. Кто-то бросил мысль, мол, надо бы поджечь барак, потому что кто-то все равно должен в нем быть. По крайней мере, на дежурстве всегда было по три учителя. А другой, чтобы все бараки поджечь, даже те, в которых и мы жили. Всю школу поджечь. Раз огонь, так огонь. О, и туда, на взгорок, выйдем и будем смотреть, как горит. Хоть так. Нерон точно так же Рим поджег. Я не знал, что это за Рим, я не знал, кто такой Нерон. Но были в школе и несколько таких, которые и то, и это знали. А потом убежим. Прощай, такая-растакая школа!

Какой-то на этот Рим сразу откликнулся, что знает, где есть бидоны с керосином, побежит, принесет. На что какой-то другой возразил, что все-таки лучше кого-то повесить. Вербку из экрана, ведь поводом был фильм, сплели. И на что? И мы двинулись через плац, стуча уже во все бараки, везде выбивая оконные стекла, в надежде, что уж кого-то найдем, потому что не может так быть, что мы сами, один на один, остались с этим бунтом. Наша злость дошла до точки кипения. А тут такая история, что никого. Некоторые начали кричать, чтобы вернуться в актовый зал, к киномеханику, может, он уже очнулся.

И тогда мы услышали, что кто-то идет. Нетвердой походкой, тяжело ступая, медленно, шаг за шагом. Плац был посыпан гравием, который отчетливо шуршал у него под ногами. Даже когда на минуту останавливался, все равно, гравий шуршал и поскрипывал, словно он пошатывался. Догадывается пан? Да, это был он, учитель музыки. Кто же ещё. Только пьяному море по колено и потому – ничего не страшно. Мы издали узнали его.

¹⁵ Слова из песни «Красное знамя» («Czerwony sztandar»). Написанная в 1881 г. на мотив «Марша фрибуржских стрелков» польским поэтом Болеславом Червенским (1851-1888), она стала первым польским пролетарским революционным гимном, довольно быстро распространившимся по всей Европе. Наряду с «Варшавянкой» и «Смело, товарищи, в ногу», «Красное знамя» в переводе В.П.Акимова (Махновца) стала одной из самых популярных революционных песен в канун и в годы Первой русской революции 1905-1907 гг.

Остановились и ждали. Он порядком был пьян. Уже сделал последний шаг, выходя из темноты, когда на мгновение пошатнулся. Кто-то из пацанов подскочил и поддержал его, иначе, наверное, упал бы.

– Благодарю, благодарю, – пробормотал. Но после следующего шага посмотрел на нас, словно только что увидел: – Почему еще не спите, парни? – удивился и не удивился одновременно. – С меня примера не берите. Я уже почти не сплю.

– Это бунт! – крикнул кто-то.

– Бунт? – икнул, и его аж зашатало. – Это хорошо, что вы бунтуете. Мы тоже когда-то бунтовали. Но видите, как я закончил. Но может, вам больше повезет. Ну, позвольте мне пройти. Что-то меня сегодня так и тянет в кровать.

– Настоящий бунт! – тут какой-то крикнул ему прямо в ухо.

– Повывбивали все оконные стекла! Теперь хотим школу поджечь! Все бараки подожжем! – кричали, перекрикивая один другого, уже все вокруг его покачивающейся головы, с каждым разом обступая его все теснее и теснее.

– Верю, верю, что настоящий – пробормотал. – Я уже во все верю, парни. А теперь, пропустите меня. Спать, спать.

Тогда из глубины толпы бог весть кто, потом никто так и не сознался – кто же, крикнул:

– Его повесим! Пьяный, он даже не почувствует!

Кто-то возразил. Но другой разошелся не на шутку:

– Бунт так бунт! Не все ли равно, кого повесим! Нет ни лучших, ни худших! Вяжите ему петлю!

Пьяный, едва на ногах держался, но мгновенно протрезвел:

– За что, парни? За что?

– Мы должны. Бунт, – у кого-то даже голос дрогнул, когда вязали ему петлю.

Ну и что пан скажет? Ведь его одного мы любили. Из всех учителей его одного. Вне зависимости от того, хотел ли кто-то учиться играть на каком-то инструменте, или нет. И хоть последних было большинство, мы все, действительно, любили его. Может, мы еще не знали законов бунта, а только злость и бешенство нас распаляли. Но он-то должен был знать, потому как держался так, словно это была шутка.

– Ну, вешайте, парни, раз уж должны. Позвольте только, я сначала напьюсь, – и вытащил бутылку, о, из того самого кармана. – Жаль было бы даже глоток оставлять, – но, похоже, что она была пустой, потому как словно эхом отозвалась, когда он потянул из нее. – Ну, по крайней мере, умру, как и подобает артисту. От ближайших рук. И это – хорошо, – после чего проверил у себя на шее петлю, когда ее ему уже завязали. – А эта веревка, парни, не порвется? Что-то она какая-то... А я бы уже не хотел возвращаться.

Повели его на этой веревке, выискивая, где бы повесить. Но, оказалось, что никакая балка не выпирает, ни одного дерева поблизости нет. Где бы здесь и где бы здесь, рассуждали. А он уже начал выходить из терпения:

– Ну что, парни? Я готов.

И тогда какой-то выскочил, подбежал к тем, что вели его и сделал ему подножку. Он упал, шляпа слетела у него с головы, бутылка, которую держал в руках, куда-то упала.

– Бутылка! Бутылка! – прохрипел. – Не разбейте ее! – и уже спокойно, как бы даже с грустью, пытаюсь подняться с земли: – Как-то рано, парни. Я ведь еще и не висел.

И что пан скажет, те же самые, которые завязали ему эту петлю на шее, кинулись и начали его поднимать. А другие в потемках искали бутылку. Какой-то надел ему на голову шляпу, какой-то отряхнул его. Того, что сделал ему подножку, оттолкнули от него, надавали по шее. Потом всей толпой отвели его к барaku, где он жил.

– Жаль, парни, – сказал нам на прощание. – Уже был бы сам по себе. Найдите мне завтра бутылку. А теперь спать, спать.

И закончился бунт. Нет, еще раз фильм нам уже не показывали. Да и кто, в конце концов, захотел бы его теперь досмотреть. Электричество, как обычно, дали на другой день.

Не было никаких собраний, докладов, выступлений. Только загнали нас на уборку. Сказали собрать все инструменты, что были выброшены из окон. Отменили уроки, отменили занятия в мастерских, выходы на работы. Завтраки, обеды, ужины мы получали как обычно, нормальные, не уменьшенные порции. Практически тот же час появились стекольщики, начали стеклить окна, первым делом – в актовом зале. Потом приехали страховщики, оценивали ущерб. Получается так, что наш бунт был застрахован. По учителям пан также не узнал бы, что был какой-то бунт. Они даже сделались более мягкими, доброжелательными. В любом случае, никто даже голоса не повысил, не нахмурился. Комендант отвечал на приветствия, что нас удивляло больше всего, потому что раньше, когда кивнет, а когда даже и не кивнет головой, если его кто-то поприветствует. А чаще всего нас просто не замечал. Разве только что-то ему в ком-то не понравится, так тогда мог и по морде съездить. На глазах у всех.

Но больше всего нас удивлял учитель музыки. И не потому, что ходил трезвым. Трезвым он был совсем другой, можно даже сказать, совершенно на себя непохожий. Задумчивый, постаревший, да и вообще как-то мало показывался на глаза. Нет, мы так и не нашли эту бутылку, невзирая на то, что, как он нас и просил, на другой день искали по всему плацу. И это было самое удивительное. Как сквозь землю провалилась. Я понимаю – в траве, в кустах, но весь плац был усыпан гравием. Кроме гравия и барачков на нем ничего не было. Мы даже хотели ему купить где-нибудь похожую, потому как это была не обычная бутылка, сегодня такие плоские бутылки используются практически повсеместно, но тогда все было исключительно в круглых. Откуда он ее взял, не знаю. Похоже, что и сам он тоже ее искал, потому как выходил изредка с утра и прогуливался по плацу. Кроме этого больше ничего не происходило. Только как-то раз собрали нас в актовом зале, когда стекольщики уже застеклили окна. Был комендант, все учителя и мы. И говорили нам подумать над этим нашим бунтом, насколько он оправдан. Неужели, без школы нам было бы лучше. О фильме никто и слова не сказал. Вообще, разговор был короткий. Сказали еще только, что пока не наведут порядок, не отремонтируют все, не устранят ущерб, дают нам выходные, чтобы мы над этим всем подумали хорошенько. Такое наказание – дни на размышление, как сказал кто-то из пацанов.

Сначала мы подозревали, что на этом все не закончится и это – только затишье перед бурей, но потом перестали подозревать, ведь нам сказали все обдумать. Некоторые даже начали жалеть, что не подожгли, ну, по крайней мере, хотя бы учительского барака. Может, неделя прошла, может, нет, в любом случае, у нас еще были выходные, а тут на расвете – побудка. Не такая, обычная ежедневная, а словно что-то случилось. Выбегаем на плац, а там три военных вездехода. Автомобили высокой проходимости, если пан не знает. В две шеренги становись, рассчитайся и что после завтрака нас будут опрашивать.

Отправили нас на завтрак. Они, наверное, тоже должны были поесть, потому что мы все ждали и ждали. Солнце поднялось уже достаточно высоко, как начали нас вызывать в зал, на этот допрос. Не по алфавиту, не по старшинству или там младших, не отряд за отрядом или барак за барак. Вразбивку. Какой-то смысл в этом должен был быть, но мы не понимали – какой. Даже не тех, кто кричал в том бунте, кто был самым громким, кто самым активным. И не того, кто первый позвал, что сплетем веревку и кого-нибудь повесим. Хотя, все знали, кто это был. Начали с одного из пацанов, который вообще не участвовал в бунте, так как болел, лежал с температурой.

Сидели за столом несколько штатских, несколько военных и наш комендант, с самого края. Стол стоял у противоположной стены зала, длинный, составленный из нескольких столов и накрытый красным полотном. На столе – две вазы с цветами, а в стаканах у них был чай. Даже выглядели приветливо, улыбались нам доброжелательно, не только штатские, но и военные. Спрашивали тоже вежливо, никто и голоса не повысил, вот как будто только и приехали, чтобы поговорить с нами.

О чем нас спрашивали? Больше всего об учителях, словно их интересовало – добры ли они к нам. Например, часто ли мы задаем учителям вопросы, и что они нам отвечают.

Когда электричество отключают, что тогда отвечают. Или, когда еда бывает плохой, что отвечают? Или спрашиваем ли мы их об этом? Этого уже никто не мог понять, потому что еда всегда была плохая. Разве не знали об этом? Но что мы едим, никого не спросили. Если бы спросили, может, узнали бы, что от еды тоже много зависит. Не всегда от фильма. Фильм нам привезли в первый раз. А ели мы ежедневно. От еды, и от того в чем, чем ешь, от тарелок, ложек, ножей, вилок. А ели мы из старых армейских котелков. Нам говорили, что армия их подарила школе. Но никто в это не верил. Ходили слухи, что их собирали в местах, где прошел фронт, и они остались от убитых. Так можно ведь представить себе, что ест пан из этого котелка, а рядом с ним сидит убитый, потому что это – его котелок. И пусть бы у пана даже котлеты были в котелке, будет ли пан их смаковать? Нет, никаких котлет нам не давали. Если уж и было что-то мясное, так в лучшем случае кусок печени или селезенки, редко сердце или почки. И постоянно каша, картошка, картошка, каша. Ячневая. До сих пор есть ее не могу. А суп, как правило, водянистый. Так не раз некоторые со злости зачерпывали его ложками и обливали друг друга этим супом. Начинали обливаться за одним столом, а потом так расходилось, что вся столовая обливалась. И такой суп тоже мог быть поводом к бунту. Ложки, вилки были перекрученные, из алюминия и постоянно надо было их выпрямлять. Не говоря уже о том, что большинство вилок были щербатыми, не со всеми зубьями. Чаще всего по два и то хорошо. А ножей хватало не на всех, конечно, надо понимать, если было, что резать. На счастье, они редко были нужны. И об этом всем не знали? Учителей, так словно хотели разобрать по частям. Но мы не так уж и много могли им рассказать, потому как каждый учитель, по-нашему, был такой, что уже никакими словами не описать. Тем более, какой смысл было копаться в учителях, ведь все началось с фильма, когда он прервался из-за того, что отключили электричество. Некоторые из пацанов пробовали им рассказывать, как этот мужчина, то есть Джонни, как эта Мэри. Что примерял и примерял, но их тут же прерывали, словно комиссию это совсем не интересовало. Раз кто-то из них даже улыбнулся, вроде бы – кто-то из военных, но точно не могу сказать, не меня тогда опрашивали. Как по мне, должны были первым делом фильм посмотреть и только потом уже нас опрашивать. А еще хорошо бы и у них на этом самом месте оборвался. Может, хотя бы тогда поняли, как вспыхивает такой бунт. Пан думает, не поняли бы? Что, фильм – это очень мало? Или что все только из-за шляпы? О, так я не соглашусь с паном.

В любом случае, о фильме и слушать не хотели. А если речь шла о бунте, спрашивали нас, например, что кричали, чтобы передать им, если не дословно, потому что, может, мы не помним, то хотя бы содержание, – о чем. Каждого обязательно спрашивали, что кто из пацанов делал во время бунта. Словно во время такого бунта кто-то мог делать что-то отдельное от других. Бунт сам по себе означает, что все вместе, а сам и не знаешь, что делать отдельно. Один крикнет, а у каждого ощущение, что и он кричит. Или пусть бы только один шел впереди, а всем будет казаться, что шли самыми первыми. Так же, как на войне, один погибнет, а всем кажется, что и они погибли. А что живут, так только потому, что хотя бы кто-то должен помнить, что погибли. Только убежать можно поодиночке.

Но, вполне возможно, что-то из нас да вытянули. Пан знает, как на таком допросе. Не хочешь ничего говорить, и даже не знаешь, что уже рассказал. Не должен ни в чем сознаться, а человек между словами создается. И вообще, на таких допросах более важно, что пана спрашивают, а не что пан отвечает. В вопросах есть ответ, который хотят услышать. В вопросах создается пан в своей вине, когда он даже не чувствует себя виновным. Или ответит пан, что не помнит, или пусть даже молчит пан, все равно он создается. Молчанием – тем более, потому что им пан еще и подтверждает свою вину. В человеке – вина на все возможные вопросы. И даже на такие, которые ему до сих пор никто не задал, а может, никогда и не задаст. Потому как, что такое сам человек, если не вопрос о виновности? Единственно, счастье, что он редко добывается ответа от себя самого. И это счастье тем больше, поскольку навряд ли смог бы себе ответить.

Еще мы боялись, что нас всех арестуют, и уж там-то точно будут бить. Спрашивали нас, например, о жожаках, как выразился один из военных. Сразу объяснил, что это те, которые были во главе, были самыми активными, больше всех и громче всех кричали, чтобы назвали им фамилии. И каждый из нас называл кого-то другого, так что не исключено, что все мы оказались жожаками, потому что никого из нас не арестовали. Но не могло это закончиться просто так. И не закончилось. Знает пан, кого арестовали? Совершенно ни в чем не виноватого учителя музыки. Может, кто-то проговорился, что мы хотели его повесить. И этого им хватило. Это уже была какая-то лазейка для них. Потому что больше ни к кому другому ни одна лазейка не вела. Что правда, потом шептали, что он был обязан им доносить, что в школе происходит. И не справился с этим. Но знает пан, хоть и шептали, но никто из нас в это не верил. Уж кто-кто, но чтобы он, учитель музыки?! До того же редко, когда трезвый. Что, будучи пьяным, он мог бы подсмотреть или подслушивать. В глазах постоянный туман, а в ушах, наверное, одни звуки. А может, и в глазах – тоже звуки, потому как частенько не видел, в какую сторону идет. Случалось, в свою квартиру не мог попасть. Нужно было его провожать. Ключ вынимать у него из кармана, открывать. Помогать ему снять плащ, шляпу, ботинки. Уложить его на кровать. И кто знает, не были ли и мы для него всего лишь звуками, из которых он пытался что-то сложить, а что не удалось ему, то ведь не его вина, только наша.

Пан бы поверил? Ну, само собою. Но шептали. И что самое плохое, никто ничего не знал, никто не говорил, но шептали, словно новость сама по себе появилась. И откуда только это берется, пусть пан мне скажет? Может, есть что-то такое, типа, как самозарождение слов, не знает пан? Когда разошлось по школе, что его забирают, мы побежали к залу, принесли инструменты, кто какой схватил, исправный, неисправный. И выстроились на плацу, как он нас установил тогда, в «оркестре», в любом случае – так, не так, это не имело значения. Вокруг нас собрались и те, которым не хватило инструментов, потому как вышла вся школа. Когда его вывели, все подняли инструменты, как будто в этот самый момент начали играть. Но нет, мы не играли, так только стояли просто.

Он шел с опущенной головой, даже не посмотрел в нашу сторону. Его посадили на заднем сидении, бок о бок с ним, с одной стороны – один, с другой – другой. И должны были уже тронуться, когда вдруг он подскочил и крикнул:

– Да здравствует музыка, парни!

7

Не знал его пан? Жаль. А может, пан знал Ксендза? Нет, я не о каком-то там ксендзе. Мы только называли его Ксендз. Даже мне, хоть я и был намного младше его, он разрешал именно так обращаться к нему – Ксендз. Сварщиком он был. Мы вместе работали на стройке. Думаю, если мы напомним друг другу каких-то общих знакомых, вполне возможно, что там или здесь, тогда-то или тогда-то, но вместе с ними были и мы. Часто вспомню какого-то знакомого, а уже он ведет меня к другому знакомому, тот еще к одному, а этот – опять к иному. И скажу пану – не раз, не два не верил я, что знаю и того, и этого. Но потом должен был признать очевидное – если они меня помнят, что здесь или там, тогда-то и тогда-то мы встречались. Как-то с одним даже выяснилось, что несколько лет мы вместе играли в одном оркестре, он на тромбоне, я на саксофоне. Но он уже умер. Да, знакомые много куда могут нас завести, даже туда, где бы и сам никогда не хотел бы себя найти.

Рассказывал мне кто-то за границей, что были у него двое знакомых братьев, которые по разным сторонам участвовали в гражданской войне. Братья по разным сторонам, так может пан представить себе, какими они должны были быть жестокими врагами. Тем более, что и война была – жестокая. Так друг друга били, будто одни других в крови хотели потопить. Гражданские войны, как пан и сам знает, намного хуже обычных. Потому как нет большей ненависти, чем та, что рождена близостью. И ничего удивительного нет в

том, что когда война закончилась, они и дальше продолжали оставаться врагами. Жили в одном селе, но не разрешали ни женам своим встречаться, ни детям своим вместе играть. Ну и надо понимать, что и сами даже словом никогда между собой не перекинулись. Правда, приходили в один и тот же пивной бар. Другое дело, что это был единственный пивной бар на все село. Садись за разные столики, пили пиво, читали газету. Если газета была одна, то тот, который прочитал, относил ее туда, откуда взял, хотя бы столик брата и стоял ближе. Точно так же, если он первый прочитал, поступал и другой.

Но тот, который первый прочитал, не выходил, пил пиво и словно ждал, пока другой брат не прочтает. Почти ежедневно приходили более или менее в одно и то же время, словно знали, когда должны прийти. Пили пиво, читали газету, сначала тот, потом этот, или наоборот, тот – после этого, а когда в их кружках заканчивалось пиво, выходили. И так же: сначала тот, потом этот, или наоборот, тот – после этого. Не было такого, чтобы который из них выпил быстрее и вышел. Не должны были подсматривать, хотя пиво в кружках и видно. А может, как в братях, был в них тот самый, одинаковый ритм? В любом случае, пили они – ноздря в ноздю. И это как бы говорило за то, что еще не перестали быть братьями. Вот только слова в них война навсегда убила.

Шли годы, они постарели. Один поседел, другой облысел, а все приходили в этот бар, садились: тот за один, тот за другой столик, пили пиво, читали газету. И так же возвращали ее туда, откуда брали. Уже очки надевали, чтобы читать. И ходили – тяжело, но ни один не подал другому, когда прочитал. А выпили пиво, выходил один, сразу же за ним – другой. И хоть бы раз за все эти годы один из них сказал бы другому:

– На, возьми газету.

Может, этого одного предложения и хватило бы. Потому как, кто знает, может именно этим одним предложением и сказали бы друг другу то, чего не сказали в течение всех этих лет. О, в одно предложение много чего может вестись. Может все вестись. Может вся жизнь вестись. Предложение – мера мира, сказал какой-то из философов. Так оно и есть. Иногда так себе думаю: не потому ли мы должны за всю свою жизнь столько слов сказать, чтобы все их со временем можно было бы переплавить на единственное предложение. Какое? Каждому – свое, его собственное. Которое, как накатит на человека отчаяние отчаянное, мог бы он сказать. И не солгать при этом. По крайней мере, самому себе.

Вполне может быть, пан и знал Ксендза. Ну, этого сварщика. Нет, не скажу пану. Даже не знаю, как его звали. Все говорили: «Ксендз, Ксендз». И так где-то потерялись и его фамилия, и имя. А знает пан, он даже как бы и похож на него немного, особенно, когда вот так на пана посмотреть. Слово даю. Что-то есть у пана от него. В чертах лица, в глазах. Конечно, надо понимать – когда я представляю пана таким, каким он мог быть в его молодые годы. Тоже ведь был еще молодым. Конечно, намного старше меня, но я-то тогда вообще был сопляком. Это была всего лишь вторая моя стройка, а на первой я отработал неполный год. Когда пан вот так немного повернет голову, я словно его вижу. А если пан на минутку прекратит лущить. Когда руки без движения, лицо становится более выразительным. Ну, не знаю. Может так, совсем немного.

Почему Ксендз? Учился на ксендза, три курса семинарии закончил, но бросил. Того мне не говорил. Но сохранил пояс, сутану, Евангелие, которые держал в отдельном чемодане, который закрывал на ключик. Только кто бы на такой стройке не открыл бы чужой чемоданчик и не заглянул бы в него. Особенно, если тот закрывается на ключик. Перед сном всегда опускался на колени рядом с кроватью и долго молился. Ни одним воскресеньем мессы не пропустил. Тем более, этот чемодан так и соблазнял: открой, мол, меня. Так-то мы частенько и по воскресеньям работали, когда план горел, но он обязательно должен был сходить, отстоять Святую мессу.

Естественно, у него были неприятности, получал он выговоры, срезали ему премии. На совещаниях его постоянно песочили, мол, именно из-за таких план и не выполняется.

Что на стройке слишком много верующих, и всегда он служил наглядным примером. Хотя не был исключением из общих правил. Тогда на стройках кого только не работало. Стройки были типа укрытий, где можно было спрятаться, отсидеться. Так что, если бы всех таких (или примерно таких) хотели бы уволить, работать было бы некому. Не говоря уже о том, что специалистов вообще бы не было. А он был одним из самых хороших сварщиков. Кто знает, может и лучшим. Все сварщики к нему ходили, советовались. Трудлюбивый к тому же. Если нужно было выполнить какую-то срочную работу, не уходил со стройки, хотя бы и ночью надо было варить. Не пил, не курил, не ходил на какие-то там развлечения. Избегал девушек. А как выпадала свободная минутка – читал. В этом отношении был исключением, потому как все остальные в свободное время пили. Даже перед тем, как заснуть, говорил, что, не смотря на то, каким бы усталым не был, все равно – должен взять книгу в руки, чтобы хотя бы пару страниц прочитать. Книги, сказал мне как-то, когда я поднялся к нему на леса, – единственное наше спасение, они – для того, чтобы человек не забыл, что он все-таки человек. Сам он, в любом случае, не мог жить без книг. Книги – это тот же мир, но тот, который человек себе выбирает, а не тот, на который приходит.

Уговаривал меня, уговаривал, пока я и сам не начал, в конце концов, читать. Я подумал, что мне не повредит, попробую, а что, я его любил... Спросил меня как-то, не хотел бы я почитать какую-нибудь книгу. Я все отговаривался, мол, времени нет. Но под конец, чтобы сделать ему приятное, сказал, пусть принесет. У него было немного своих книг, он их хранил в другом чемодане, том, который не закрывал ключом, поэтому никто в него и не заглядывал. Так оно и началось. А потом другую, третью. Потом сказал, что у него уже нет для меня ничего, потому как те, что еще остались, трудные для понимания. И отвел меня в библиотеку. Была на стройке библиотека, небольшая, несколько полок. Искал, искал, пока что-то мне не выбрал. Я прочитал, снова сходил со мной, снова выбрал. И так до самого конца ходил со мной и выбирал для меня. Я скажу пану, что именно в память о нем начал я, в конце концов, сам, по собственной воле читать. И так же, как и он, перед тем, как заснуть, мне нужно было хотя бы пару страничек прочитать.

Странно, что пан его не знал. Все на стройке его знали, любили. По любому делу он беспристрастный, справедливый. Доброжелательный ко всем. С каждым мог остановиться, поговорить. Если торопился, то, по крайней мере, спрашивал об этом или о том. И всегда помнил, если кого-то при предыдущей их встрече что-то печалило. Если была нужда, можно было и несколько злотых у него перехватить. Забредали на стройку собака или кот, обязательно кормил их. А какой сварщик был, лучшее тому доказательство, что на самой высоте работал. Как вели монтаж конструкций, то он всегда – выше всех. Без страховки. Ничем не закреплен. Ничего его не держит. Даже горелку не гасил, когда переходил от одного места работы к другому. Как циркач ходил по конструкции. А должен пан знать, что чем выше, тем лучшим специалистом должен быть такой сварщик.

Иногда увидит меня с самой верхотуры, что я через площадь иду, позовет, чтобы поднялся к нему на минутку, потому как хочет мне что-то сказать. Я поднимался, если не было ничего срочного. Любил он меня, уж и не знаю почему. Ведь сопляк я был по сравнению с ним. Говорил, что хоть отдохнет минутку, благодаря тому, что я пришел. Нет, ни о чем таком мы не разговаривали. Спрашивал, прочитал ли я ту книгу, которую он мне в последний раз выбрал в библиотеке, понравилась ли она мне, что о ней я сужу. Нет, речь шла не о том, чтобы проверить, прочитал ли я, а как раз о том – понимаю ли. Подсказывал мне, как надо понимать. Соотносил ее с другими делами, с жизнью, миром, людьми вообще. И при этом всегда что-то такое говорил, о чем я потом долго думал. Не только о книгах мы разговаривали. Говорил, что только здесь, на высоте, мы еще можем чувствовать себя людьми. И это была правда, которую я понял потом, много-много лет спустя.

Внизу особо не поразговариваешь, потому как с утра и до самой ночи работа подгоняла или просто не до того было – то чего-то не привезли, чего-то не довезли. Вот и стоишь, ждешь.

Разве что под водку, но тоже – надо знать, с кем пить, были случаи и не раз – доносили. Хотя доносили и тогда, когда не разговаривали. И даже когда кто-то только вздохнул.

На всех стройках, как уже говорил, всегда работал выше всех. А так как работал уже на многих стройках, высота была словно бы его землей, поэтому и не удивительно, что там ему лучше всего разговаривалось. А внизу, когда еще только шел на работу, читал, собак, котов кормил и ни с кем не дружил. Но, несмотря на это, как я говорил, все его любили. Естественно, зарабатывал много больше других. Но не о деньгах речь.

Ну и, представляет себе пан, как-то днем, как раз обед был, пронеслось, что Ксендз упал и разбился. Одни говорили, что упал, другие, что кто-то должен был ему помочь, а другие, что хотел упасть и упал. Иначе упал бы с электрододержателем, в маске. А он держатель отложил, маску снял.

Правды, наверное, мы никогда не узнаем. Вполне может быть, что причина заключалась как раз в высоте. Конструкция уже дошла до четвертого этажа. И каждый этаж – высоченный, потому как это были павильоны. А когда человек приучит себя к высоте, то уже не может забыть о ней, вспомнить, что живет-то он внизу. Да, с высотой нельзя шутить. Сколько раз туда, к нему, поднимался, меня всегда что-то либо к земле тянуло, либо еще выше.

Но сдается мне, правда кроется в чем-то другом. Была одна девушка. В столовой работала. Нет, откуда. Я говорил пану, что избегал девушек. Любил ее. И со взаимностью. Деликатный был, вежливый, не так, как мы, остальные. Обычно, когда ему суп или второе приносила, восхищался ее косой, говорил, что такая прекрасная, каких уже почти и не встречается. И в самом деле, у нее была толстая такая коса, в обхвате примерно как вот тут у меня. Со спины она ей была где-то до пояса. Когда разносила тарелки, все в столовой ее за эту косу хватали.

Я – нет. Как-то не хватало смелости. К тому же я совсем недавно пришел на эту стройку. Поставит мне суп или второе, так даже не взгляну на нее, если так, издалека. А они все уже были с ней на короткой ноге. Она тоже привыкла, что ее за косу хватают. Но не буду скрывать, она мне сразу понравилась. И она тоже это сразу поняла. Как-то наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «И ты схвати, почувствуй». Но я не стал хватать. Но для себя решил, что и так будет моею. Пусть только представится когда-нибудь такая возможность, сразу скажу ей об этом. А пока ничем не выдавал себя. Даже никогда не говорил ей, как хорошо сегодня пани Бася или Басенька выглядит, потому как звали ее – Барбара. А все остальные ей это каждый день говорили. Она поставит передо мной тарелку, скажу – спасибо. Вот и все. А другие, что бы не ели, если ее за косу не поймают, то по крайней мере хотя бы скажут, как хорошо сегодня пани Бася или Басенька выглядит.

Не раз даже суп проливала, потому как не успеет еще поставить тарелку на столик, а ее уже кто-нибудь – хватать за косу. К тому же и руки у некоторых были... Как две ваши или мои! Крепкие, натруженные. Так что неудивительно, если и тарелка – вдребезги, когда она пыталась вырваться из такой руки. О, не раз, не два бились тарелки с супом, со вторым из-за этой ее косы. Или пустые, когда она уже убирала их со столиков.

Как-то раз вторые блюда несла на подносе, насколько я помню, шесть тарелок, и тут ее кто-то – хватать за косу, несмотря на то, что шла не к его столику, рядом проходила. Поднос покачнулся у нее в руках и все тарелки полетели на пол. Хотели ее сразу уволить. К счастью, этот почтенный заплатил за все тарелки и за все вторые блюда. Потом ждали, и только тогда, когда она уже поставит тарелки на стол, хватали ее за косу, а то бы, наверное, всю посуду, до последней тарелки, побила бы. И не по своей вине. Хотя, думаю, что виной может быть и коса. По-моему, в столовых, да еще и на таких стройках, должны работать некрасивые девушки или женщины. Да, вежливые, приятные, но не очень милые.

Иногда укладывала ее у себя на голове в корону. Может, так она пыталась себя защитить, потому что как еще можно защитить себя, если есть такая коса, которая так и просит, чтобы ее схватили и хоть минутку подержали в руках. А может, она хотела стать еще

краше, кто знает. Хотя краше, по-моему, уже и не могло быть. Без этой косы она становилась не похожей на себя, совсем не такой, как была, как бы недоступной, надменной. Когда она ставила перед паном суп или второе, казалось, что из милости ставит. Не любил я эту ее корону. Думал, когда она станет моей женой, скажу ей, что мне больше нравится коса. С косою, когда та у нее за спиной, она выглядела, ну не знаю, как бы это сказать, как будто только входила в этот мир. И он сразу становился ярче, светлее, красочней.

Пан улыбается? Я понимаю. Несовременные у меня представления, да? Но тогда я думал именно так. Правда, если подумать... Не считает ли пан, что мы носим в себе постоянно одни и те же представления, которые люди всегда носили в себе? Несмотря на то, что мир вокруг меняется. Несмотря на то, что мы уже другие. Или, может, мы другие только потому, чтобы соответствовать этому изменяющемуся миру. Но в наших, даже самых потаенных мыслях, все мы остались прежними, и только скрываем это от себя, ото всего остального мира.

Впрочем, пусть пан сам скажет, может ли он себе представить что-то более красивое для девушки, чем коса? Разумеется, на красивую косу нужны хорошие, добрые волосы, а не такие, как паутина. Нужен дар на волосы, как говорили во времена моего детства. Здесь, у залива, в сезон, особенно, в субботу, воскресенье или на праздники, тоже иногда можно увидеть красивые волосы. Но лучше бы и не смотреть на них. Все выкрашены, и часто в такие цвета, что настоящих волос таких цветов просто-напросто не бывает. Если волосы настоящие, у них – у каждого! – свой отдельный цвет. Пан не замечал? А еще и парикмахеры над ними поработают... Эти разные кондиционеры, шампуни, лаки. Голова, кажется, и не голова вовсе, а какой-то букет. Но весь этот букет – с горсть, не больше, если его собрать с такой головы.

В общем, что-то не самое хорошее происходит с человеческими волосами. Разве это не знак, что и с миром что-то начинает происходить? Вопреки тому, что нам обычно кажется, начало чаще всего трудно заметить. Мало когда что-то начинается с больших вещей или событий. В основном с маловажных, часто не заслуживающих нашего внимания, как, например, с тех же человеческих волос. Замечал ли пан, что все больше и больше молодых мужчин – лысые? И таких молодых все больше и больше. В годы моей молодости у каждого из молодых обязательно была шевелюра.

Если смотреть на людей вот так: отдельно собственно на волосы, или, скажем, отдельно на босые ноги, например, здесь, у залива, – отдельно на руки, глаза, губы, брови... О, тогда совершенно по-другому видишь людей, чем когда смотришь на них в целом. Есть над чем поразмышлять. Над чем задуматься.

И эта ее коса стала началом того, что должно было с ней случиться. Конечно, никто и подумать не мог, чтобы коса... Коса – это коса. Только искушает, чтобы схватили ее, почувствовали в руке. Хотя, скажу пану, что, когда она, убирая со стола тарелки, иногда случайно касалась ею моего лица, так меня дрожь пробивала, как будто это смерть до меня дотронулась. А ведь я не представлял себе других волос, красивее и лучше, чем у нее.

Хотя, вообще-то, было в ней что-то странное. Потому как, когда ее за косу хватали, всегда заливалась румянцем, а вроде как должна была уже и привыкнуть. Столько блюд поразносила за такое количество обедов с тех пор, как строительство началось, должна была привыкнуть. И даже если ей кто-то заглядывал в глаза, когда она ставила тарелки, тоже заливалась румянцем. Кто-то скажет – хорошо, мол, сегодня пани Бася или Басенька выглядит, опять же заливалась румянцем. Она всегда хорошо выглядела, но так – сегодня, мол, – ей говорили. Не так много слов надо, когда хочется что-то приятное сказать девушке, тем более в столовой, когда она подает вам тарелку с супом или вторым, или убирает уже пустые тарелки.

Другое дело, слова должны быть, чтобы между мужчиной и женщиной что-то произошло, пан так не считает? Один мне тут как-то сказал, что они не нужны. Отмирают, мол. Известно, что нужно мужчине, известно, что – женщине, зачем еще слова. Правди-

вые, лживые, умные, глупые, ловкие, неуклюжие, они все, без исключения, ведут к одному и тому же. Тогда – зачем?

Правда, на стройке дела со словами тоже обстояли не лучшим образом. Использовали их немного и только те, которых требовало строительство. Знал бы пан, что это за слова были. Работа подгоняла работу, поэтому на обед в столовую человек прибегал, чтобы быстро перекусить, и снова – за работу. Спецовки грязные, потные, руки и то иногда не вымыты. Пока ешь, другие – в очередь, стоят, ждут, когда ты им столик освободишь. Так где и когда пан смог бы научиться каких-то других слов. Хорошо сегодня пани Бася или Басенька выглядит, это все, что некоторые умели. А и за одно это их считали вежливыми и учтивыми. Куда проще было поймать ее за косу.

Был ли кто-то влюблен в нее? Мне трудно говорить за других. Затащить ее в постель, наверное, готовы были все. Но был ли кто-то влюблен в нее? Если это была настоящая любовь, то настоящая любовь мало что умеет, как пан знает. Ее трудно заметить, тем более на такой стройке.

Строительство еще не было завершено, на три четверти максимум, а тут, в соответствии с планом, начало приходить оборудование из-за границы. Вскоре появилась и команда для его монтажа. Два или три человека из той иностранной компании, которая отправляла это оборудование.

Казалось, им и дела мало будет до работы, а они неожиданно резко принялись за нее. Заставили нас быстро завершить один из цехов и начали устанавливать кое-что из этого оборудования. К счастью для нас, пришлось заново делать замеры, потому как по ним что-то вышло не так, потребовалось даже менять планировочные схемы, в результате чего и нам пришлось корректировать уже свои рабочие чертежи. При этом они постоянно сидели в дирекции, постоянно о чем-то там вели переговоры, спорили, что не так и как должно быть, ругались.

О, господа были. Каждый второй – инженер. Под квартиры им отвели целый барак. Но уже не говорилось, что в бараке они живут, – в павильоне. Снаружи его оштукатурили, внутри покрасили, щели законопатили, полы зацементировали, поменяли двери, окна. Каждый вселился в отдельную комнату. Мы же, кто раньше в этом бараке жил, перешли на частные квартиры, а до того теснились по семь, восемь человек в одной комнате. Купили им новую полированную – аж блестит! – мебель, широкие кровати; помимо кроватей – софы, кресла, шкафы для одежды, столы, стульчики, полки, прикроватные тумбочки, ночные светильники, занавески на окна, шторы. У себя, в своих собственных домах, вряд ли у кого-то хотя бы примерно так было, как у них, в этих комнатах. К тому же в каждой еще и радио, ковер на полу, зеркало на стене.

Когда мы в бараке жили, кровати были железные, кровать, шкаф, один на шестерых. Каждый в нем мог – максимум! – костюм повесить, если он у кого был. Остальные вещи держали в чемоданах под кроватью или в коробках из-под сигарет, печенья. А чтобы кому-то пришлось в голову повесить нам занавески на окна, не говоря уже о шторах... Мыло там или грязное полотенце поменять – трудно было допроситься. По несколько раз приходилось напоминать. Мы купили кусок какого-то ситчика и по вечерам занавешивали им окна, закрепив на гвоздиках. Или зеркало. Зеркала были только в общей умывальной комнате и мало какое из них не было битым.

И чаще всего человек, глядя в такое битое, должен был бриться, расчесываться или прыщик на лице, например, выдавить, галстук завязать, когда подошло воскресенье. Или пусть даже пан хотел просто посмотреть, как он выглядит – так будто сложен из одинаковых побитых частей, как это зеркало. В столовой им выделили часть помещения у окон, там стояли их столики. И чтобы не случилось, если они опаздывали, столики всегда были не занятыми, стояли, ждали их пустыми. Никто не смел там сидеть. Иногда все столики заняты, а хоть и спешешь, потому как срочная работа ждет, приходилось ждать, пока кто-то не съест свое, а те столики – пустые. Частенько не по одному и не по двое, много нас, иногда и несколько десятков, стояло над душой у тех, кто в это время ел. Поторапливали

их, само собою, чтобы быстрее обедали, так некоторые, как будто назло, еще медленнее ели. Кровь у человека закипала, потому как здесь голод поджимал, туда работа звала, а тут, как будто издеваясь над нами, столики стояли свободные. А они частенько приходили, когда в столовой уже последние доедали. И сколько бы народу за то время обеда могло бы спокойно поесть, сидя за их столиками. Случалось, кто-то не выдержал и голодным возвращался к работе. Максимум съедал селедку или яйцо в буфете, кусок колбасы, хотя колбаса редко когда бывала, и возвращался, по крайней мере, полуголодным.

Так в одного из тех, за этими столиками, влюбилась, представьте себе. И это – на глазах у всех, уже в самый первый день. Пришел он, сел, а она подала ему суп. Он посмотрел на нее, а она не залилась румянцем, не покраснела, только посмотрела на него. Какое-то время они смотрели друг на друга, а вся столовая – на них, даже есть перестали. Если даже кто-то уже поднес ложку с супом ко рту или мясо, картошку на вилку, застыл и смотрел. Постоянно они хватали ее за косу, говорили, мол, какая красивая сегодня пани Бася или Басенька, а тут появляется незнамо кто и она даже румянцем не залилась.

Он тоже уже держал ложку в руке, но не окунул ее в суп, как будто не мог оторвать глаз от нее, стоящей над ним, а может, и голод его прошел. Она тоже не могла оторвать от него взгляда. Несмотря на то, что уже поставила перед ним тарелку с супом, так что должна была бы уйти, как от каждого из нас уходила, когда уже поставит тарелку. Пришла в себя только когда повариха высунулась через окошко раздачи из кухни и крикнула:

– Баська, не стой там! Бери тарелки!

Сказала ему:

– Приятного аппетита.

Никому из нас никогда не сказала приятного аппетита. Он ответил:

– Спасибо. Конечно, будет вкусно.

И смотрел на нее, пока она уходила, до самого окна раздачи смотрел. Ел этот суп, а как будто и не ел. Был крупник¹⁶, я помню. Пан любит крупник? Я терпеть не могу. С детства не люблю. Съесть тарелку крупника – для меня была настоящая пытка. Потом принесла ему второе, а он даже в тарелку не посмотрел. Взял ее косу в руку, но не так, как другие хватили, а только подобрал ее всю раскрытой ладонью из-за ее спины и подержал на ладони, будто взвешивал: не из золота ли она. А она не вырвала косу у него, как прежде вырвала бы у любого из нас.

– Где это растут такие косы? – спросил.

Кто бы из нас мог сказать, где же растут такие косы? И она не покраснела.

Смотрела на него, как будто ей было все равно, что он сделает с ее волосами, как будто даже разрешала ему, что может сделать все. Может обвить ее вокруг шеи, может отрезать себе кусок, может расплести, она не будет вырывать ее у него. Сказала только:

– Пожалуйста, ешьте. Остынет...

Он ответил:

– Я люблю, когда остывшее.

И уже этим отличался ото всех нас, потому как ни один из нас не сказал, что любит остывшее. Для нас, если было не очень горячее, сразу же делали замечание:

¹⁶ Крупник (белорусское – крупня) – блюдо польской и белорусской кухни, крупяной суп особого приготовления. Белорусскую крупню делают на мясном бульоне из ячневой крупы, которую разваривают в жидкую кашу, заправляют салом и маслом, уваривают до консистенции киселя, а затем заправляют отдельно сваренными овощами с густым овощным отваром, а также творогом и свежей зеленью петрушки. Польский крупник приготавливают из перловой крупы, сваренной на овощном бульоне, а затем уваренной также до состояния кашицы. Эту кашу вливают при непрерывном помешивании в смесь из 5-6 желтков и стакана сметаны и слегка подогревают ее, добавив по полстакана мелко нарезанного зеленого лука и петрушки. Сметанно-яичная смесь должна быть очень тщательно взбита.

– Что это суп такой холодный?! Что за картофель, как будто вчерашний?! Что это за мясо такое, даже не прожарено?!.. Пани Бася, скажи им там на этой кухне! Отнеси тарелку, пусть подогреют!

А он говорит, что любит остывшее. На стройке, в столовой, и любит остывшее. Не знаю, ел ли хоть кто-то в тот день с удовольствием. Даже не скажу пану, что на второе было. Наверное, мясной рулет, потому что обычно нам давали котлеты. Больше хлеба, чем мяса, но называлось – котлеты.

Подумать только: вонзила мне, как говорится, кинжал в самое сердце. Да, задело меня. Даже не съел до конца этого своего второго. Вернулся до работы. Хотя она и не горела у меня в руках. В конце концов, утешало то, что пережду его. Смонтируют все рефрижераторное оборудование, и он уедет. А я останусь. Просто нужно быть терпеливым. К тому же как-то не очень в это верилось, чтобы вот так с первого дня. Подала ему суп, второе, и – уже.

Но с этого дня она изменилась до неузнаваемости. Смотрела, а не видела. Даже когда ей доброе утро, пани Бася или Басенька, говорили, зачастую и не отвечала. А ставила перед нами тарелки, будто для нее все едино было, кто из нас кто. Она наизусть знала столовую, могла бы в темноте ходить между столиками, а начала путаться. Несмотря на то, что за другим столиком гораздо дольше нас ждали, сначала нам принесет. Раньше никогда не путала, кому надо первому. Знала почти до секунды, кто первый пришел, где он сел. Случалось и наоборот. Звали: здесь, здесь, пани Бася, Басенька, мы первыми пришли. Окидывала нас задумчивым взглядом и относилась тем, кто позже пришел. Или принесет к какому-то столику уже второе, а там еще и супа не ели, а второго ждали за другим столом, который – ближе.

Конечно, можно влюбиться с первого взгляда, но чтобы так? Сразу можно было понять, когда он пришел в столовую. Если несла к какому-то столику суп или второе, поднос в ее руках начинал дрожать, тарелки позвякивали, а когда ставила их, как будто хотела все сразу скинуть на стол. И тут же бежала к окошку раздачи, чтобы взять суп для него. Он еще суп не съел, уже второе ему несла. Это мы, как съели суп, должны были ждать второго, пока она суп всем не разнесет. Иногда приходилось постучать вилками по тарелкам, мол, слишком долго второго ждем. А он не должен был ждать.

А увидел бы пан ее, когда он что-то долго не приходил. Такое было впечатление, что не она ставит тарелки на стол, только одни ее руки. Она даже не видит, что эти руки делают. Она вся – ожидание. Здесь тарелки ставит, а глаза – все на дверь смотрят. Скажу пану, ешь, а эту ее муку почти чувствуешь своею вилкой, ложкой, ножом. И вдруг... Он появляется. Мы уставились в тарелки, никто на дверь и не смотрит, но все через нее видят: пришел. Сразу оживает, улыбается. Как будто жизнь к ней вернулась. Коса раскачивается. Глаза наполняются цветом, блеском. Почти танцует между столиками. Казалось, что сорвет сейчас косу с головы, уложит ее в вазон и поставит перед ним на столик, чтобы еда была ему приятнее.

А ведь это только то, что в столовой видели. Не раз встречали их: шли, держась за руки. Он ее обнял, а она к нему наклонилась. Кто-то им поклонится, так он и за себя, и за нее отклоняется, потому как она – не видит. Надо признать, он был вежлив. Не задавался. Нужна помощь: от меня ли, как электрика, то ли от кого-то другого, всегда просил, ждал, пока что-то там закончим. Он знал, как жить с людьми, чтобы его любили. И хочу вам сказать, его даже любили.

В то же время у нее как бы нарастало нетерпение. В столовой приберет, на кухне, например, уже не хотела помочь посуду помыть, потому, как она спешит. А потом видел ее, как где-то там ждет его, пока он с работы выйдет. В основном, на другой стороне дороги, напротив стройки прогуливалась. Или даже вокруг ограждения, прямо у самой сетки-рабицы. Несмотря на то, что там не было никакой дорожки, только кучи вывороченной под строительство земли. И так у этих завалов, иногда касаясь рукой сетчатого ограждения, ходила. А увидит, что выходит, бежала так, что коса – будто подпрыгивает. Не раз

снимала тапочки и босиком бежала, чтобы не ушел. Если до ворот далеко было, через ближайшую дыру в заборе пролазила. Полно было дыр, потому как воровали через них.

А если, уж не знаю почему, долго не выходил, ждала. Известно, с работы не всегда можно уйти в определенный час. Тем более на такой стройке, особенно, когда план горит. К тому же они были на иностранном контракте. Мы не были на иностранном контракте и то редко когда уходили вовремя. Когда случались большие задержки, так тогда вообще никто на часы не смотрел.

И если шел дождь, она ждала. Купила себе зонтик или, может, он ей купил. И даже если дождь лил, как из ведра, ждала под этим зонтиком. Или где-то у стены под навесом или в будке охранников у ворот, когда уж очень сильно лило. Как-то столкнулся с ней в библиотеке. Зашел взять какую-то книгу, а тут вижу, она – над книгой, за столиком у окна, а окно выходит как раз на стройку. Но даже глаз не подняла, чтобы взглянуть, кто пришел.

А мало кто в библиотеку ходил. Поэтому каждый, кто входил, вызывал почти щенячий восторг у библиотечарши. А она не посмотрела. Даже как будто глубже погрузилась в чтение, чтобы на нее не обращали внимания. И не замечали ее. Или, упаси Боже, чтобы ее как-то не спросили, что она читает. Это могло бы ее вспугнуть, настроить против меня и тем самым навредить мне. Впрочем, зачем? Я знал, что она его ждет. А что читает, так это – не столь важно. Уж лучше в библиотеке, чем стояла бы где-то там или гуляла под дождем. Скажу пану, мне иногда себя было не так жалко, как ее.

Надо понимать, рассказывали о ней самое разное. Даже не хочу повторять. Ходили, например, слухи, что его номер убирает, стирает ему грязное белье, гладит рубашки, носки штопает. На ночь у него остается. О, смотрите, какие сегодня у нее глаза опухшие, с чего бы это? Никому и в голову не приходило, что, может, от слез. Как будто эта ее любовь всем принадлежала. Как будто каждый мог по этой любви, как по привычной уже стройке ходить, топтать ее, как окурочку выплюнуть. Только потому, что она в столовой подавала.

Никто уже не говорил ей больше, мол, как хорошо сегодня пани Бася или Басенька выглядит, потому как, если глаза опухшие, не могла она выглядеть красиво. Говорили, что подурнела, что выглядит какой-то потерянной, и коса уже не та, и глаза не те. Может, беременна, потому как медлительная стала, уже не приносит столько тарелок. Разное рассказывали. Кто-то, видимо, даже подслушал, как она сказала ему – обещал ведь. А он на это – возьму, мол. Только пойми. Она – что должна понять? Я не такая дура, как ты думаешь. Что, в столовой работаю? И расплакалась. Зато библиотечарша, пожилая уже женщина, наверное, много пережившая, относилась к ней с сочувствием. И даже когда подходило время закрывать библиотеку, не закрывала, если шел дождь, а она сидела над книгой. Расставляла книги на полках, снимала разорванные обложки, подклеивала их, нумеровала, переписывала формуляры.

Но иногда, несмотря на дождь, вдруг неожиданно возвращала библиотечарше книгу и выходила, словно какое-то беспокойство ее с места срывало, а библиотечарша только и могла, что сказать ей:

– Хорошо, что у вас зонтик, пани Бася.

Просила прощения у библиотечарши, мол, вспомнила о каких-то срочных делах.

– Ничего, ничего, пани Бася. Понимаю, бывает. Я только заложу, где вы читали. И вот здесь книгу положу, она будет вас ждать.

– Да, пожалуйста, сделайте закладку. Спасибо, – и почти бегом выбегала, как будто действительно что-то срочное вспомнила.

А уже через минуту видел ее, как где-то там, у забора, ждет его. И библиотечарша через окно тоже видела. Или упрашивала охранников, чтобы ее на стройку пропустили, и на стройке ждала. Слонялась там до самого вечера, а то и до ночи, если он не выходил. А когда кто-то, но не он, шел, пряталась за краном, экскаватором, за грудой кирпичей, за бара-

банами проводов, за ящиками, бочками, изношенными шинами, горами всего того, чем была завалена строительная площадка. Так что спрятаться было где.

Пан спрашивает, почему пряталась, если все и так знали? Вот именно. Мне и самому это было интересно. Тем более, не раз встречал ее вечером на стройке. Но и от меня пряталась. Может, такой была ее любовь, словно несочетаемая, несовместимая с этим миром. Или, может, она хотела, чтобы она такой была.

В конце концов они поженились. Странная это была свадьба. Не гражданский брак, но и не в костеле. Так он ее, видимо, сбаламутил, что она согласилась, чтобы им этот Ксендз дал обет. Да, этот сварщик. Она хотела в церкви. Он: в церкви – нет, нельзя, потому что, как ее убеждал, он может потерять работу. Знает ведь, что он по иностранному контракту, а это – не просто так, за него кто-то должен был поручиться. Не может даже сказать ей – кто, потому как это – служебная тайна. Да, в конце концов, какая разница – в костеле, не в костеле. Главное, чтобы обет дал им священник. Там костел, где священник. И знает он. А что сварщик? И что с того? Но ведь священник. По-разному сейчас складываются судьбы, и судьбы священников – тоже. У него есть стихарь и, более того, епитрахиль. Евангелие возит с собой в чемодане. Зачем, спрашивается? Для такой службы. Конечно, согласится. Понимает ведь, какие сейчас времена. И, конечно, он поклялся, что сохранит тайну. Потому что на данный момент это должно остаться тайной. Он пригласит не более трех, четырех ближайших друзей. Также не пикнут ни слова, гарантирует. Она, со своей стороны, никого, ни отца, ни матери, никого.

Договорились на субботу вечером, когда стройка становилась безлюдной, так чтобы никто не увидел. Многие в субботу после работы разъезжались со стройки по родным. Охранникам в сторожке можно дать водки, чтобы тоже ничего не видели, не слышали. На всякий случай, он скажет им, что снова празднует день рождения. Окно закроют, стол будет за алтарь, накроют его чем-нибудь белым. Купят свечи. Распятие бы, кстати, не знаю, есть ли у священника. Может, у нее дома, пусть принесет. Только тоже так, чтобы никто не видел. И принесла. Пан думает, что нельзя быть такой доверчивой? Не нам судить. Мечты и желания сильнее подозрений.

Хотела свадебное платье, белое, потому как всегда мечтала выйти замуж в белом платье со шлейфом. Он подумал. Нет проблем, будет, купит ей. Поедет в город и купит. Нет, ей не надо с ним ехать. Самое красивое, самое дорогое купит ей. Могут догадаться, если она поедет с ним. Пусть не беспокоится, подойдет. Как влитое будет на ней сидеть. Какой у нее рост? Точно? Так он и думал. Сколько в бедрах, талии, здесь? Так он и думал. Ну и зачем ей ехать? А если кто-нибудь увидит их вместе, да еще они свадебное платье примеряют, вот делов-то будет! Не их вина, что они живут в такое время. Сожалеет, но по-другому, получается, – никак. Так сама теперь видит, что лучше, если он один поедет. Белые туфли? Купит ей белые туфли. Какой номер носит? Так он и думал. Но на всякий случай, для предосторожности, пусть обведет ему контур ступни на листе бумаги. Оно надежнее будет. С туфлями вечно что-нибудь не так, вроде бы и номер правильный, а потом оказывается, что они или тесны, или велики. А не хотела бы белых перчаток, по возможности он бы купил ей белые перчатки? Что бы еще хотела?

Откуда обо всем этом знал? Пан, видимо, никогда не работал ни на одной стройке? Мало знает он жизнь. На такой стройке, пусть пан меня извинит, но все обо всем знают. Никто не должен даже подслушивать. Не должен видеть, не должен догадываться. Можно было бы сказать, что то, что случается, что говорят, кто и что чувствует, о чем кто думает – все об этом знают. А все, что потом случается, только подтверждает это общее правило.

В любом случае, уж белых перчаток – не хотела, потому что зачем еще будет и на перчатки тратиться. Нет, нет, не хочет перчатки. И так, сколько все это будет стоить. Само платье, как ты говоришь, самое красивое, самое дорогое. А туфли сколько? К тому же не видела, чтобы какая-то когда-то выходила замуж в перчатках. А почти на все свадьбы в костел ходила. Каждая свадьба, пусть и на минутку, на короткое время, но как бы и ее

жизнь меняла. С девичьих лет ходила. Даже когда совсем чужие люди венчались – ходила. Пожилые женились – мало кто приходил, она приходила. Ну и что, что в возрасте. Так свадьба же. А когда клялись, что не покинут, чувствовала, как ее сердце в груди колотится, а в глазах слезы стоят. Но никогда не видела, чтобы кто-нибудь в перчатках. Должны же кольца на пальцы надеть и что, стаскивать тогда перчатку?

Вдруг она поняла, он забыл об обручальных кольцах. Обручальные кольца надо купить. Не нужно, у него уже есть. Заранее подумал. И вытащил, развернул, пусть примерит. А откуда знать, что подойдет на ее палец? Не на тот, этот, на этот подойдет. Пусть примерит. Большое? Да потом к ювелиру надо будет, он уменьшит. Мало? Пока на этот палец, потоньше, оденет. Да потом тоже – к мастеру, он увеличит. Купил давно, еще не работал на этом контракте. Представилась такая возможность, кто-то в карты проиграл и не было чем платить. Нет, не он, он не играет в карты.

Купил у того, что проиграл. Предвидел, что они могут ему когда-нибудь пригодиться. Игодились. Уже забыл о них, только когда увидел ее в столовой, вспомнил, что есть. Как будто эти кольца выбрали ему его жену. Только они пока не будут их носить. После свадьбы снимут и он спрячет. Закончится его контракт, тогда снова наденут. Может, куда-то уедут. Может, за границу. Попробует устроиться в этой компании, чье оборудование монтируют.

И кто бы не поверил, пусть пан сам скажет? Ну, здравый смысл... Если здравый, то, может, и нет, не поверил. Только здравый смысл всегда проигрывает жизни. Подавала в столовой, а тут вдруг. И суп, и второе, а тут вдруг. Кто хотел, хватал ее за косу, а он подобрал косу на раскрытую ладонь, взвесил, не из золота ли она. Как на здравый смысл, так любой любви нужно остерегаться, потому как неизвестно, к чему она приведет. На здравый смысл самого себя нужно бояться. Не человек устанавливает себе здравый смысл. И вообще, что это такое – здравый смысл, скажите мне? Так я скажу пану: если ориентироваться на здравый смысл, то не прожить жизнь. Нет, не прожить. Здравый смысл, конечно... Но это только так говорится, когда не знаешь, что сказать.

Жаль, пан его не знал, мог бы пан ее предупредить. Не знал пан его? Хотя, уверен, и пану бы не поверила. От любви никого невозможно уберечь. Да, по-моему, и не надо. Никогда не знаешь, сможешь ли уберечь. Где? Кого?

Я думал, может Ксендз не согласится. Но вынудили его. Так ли трудно вынудить человека, чтобы он вопреки себе сделал. Сколько раз мы делаем наперекор самим себе, только бы нас оставили в покое. Вынудили его, а не то расскажут, мол. Я ведь говорил пану, что он избегал девушек. Нет, того никто не знал. Чего-то мы не знаем, даже если все знают. Учился в семинарии, это – знали. Возил в чемодане большой стихарь, епитрахиль, Евангелие – это тоже знали.

Перед обедом в столовой раскланивался, каждый вечер перед сном молился, не пропускал мессу по воскресеньям, так каждый и думал, что не расстался он с призванием. Даже я не знал, а мы не раз вели долгие беседы, когда я поднимался к нему, туда – на высоту конструкции. Откуда тот узнал? Не скажу пану. Не хочу бросать обвинения без доказательств. В любом случае, если бы разнеслось, не стало бы ему жизни на стройке. Не помогло бы даже то, что был одним из лучших, а собственно, и самым лучшим сварщиком. И потянулось бы это за ним и на другие стройки. Нигде не стало бы ему жизни.

Окно, как и пообещал, завесили. А как там внутри было, знаем только то, что один из охранников рассказывал. Его из караульного помещения отправили за пол-литрой, потому как все, что они получили, уже выпили. Но только он порог переступил, ему всучили вот эти пол-литра и выпихнули обратно, за двери. Так что он не видел, был ли стол накрыт чем-то белым, горели ли свечи, стояло ли распятие. Он только и видел, что все были пьяные, а она — пьянее всех. И был ли Ксендз – тоже не видел. Он мог уйти сразу после свадьбы. Хотя странно было бы, если бы он не напился.

Ну и так, в самом деле, что мог такой охранник видеть, когда сам был пьян, а любому пьяному кажется, что это другие пьяные, не он. Получили, видимо, ящик водки и все вы-

пили, когда он пошел уже за той, дополнительной, пол-литрой. Так представляет себе пан, каким он должен был быть пьяным. Вот такие были охранники. Мундиры, винтовки, а вооружение на стройке не переводилось. Раз кто-то даже трактор вывел. И не видели. Так разве можно было ему верить? Но говорил, что говорил, а за ним другие повторяли.

В любом случае, после свадьбы что-то нехорошее начало происходить между ними. Он даже глаз на нее не поднимал, когда в столовой подавала ему суп или второе. А она, ставя перед ним тарелку с супом или вторым, не делала уже разницы, что ставит перед ним или перед кем-то из нас. И глаза, изо дня в день, как будто выключили их у нее, и они погасли. Даже на ум не приходило кому-то сказать ей, мол, хорошо сегодня панна Бася или Басенька выглядит, потому как не угадать было: того и гляди – расплчется. Косу распустила, только лентой волосы сзади завязывала. Тоже красиво, но совсем не то, когда у нее была коса. Но никто не решился спросить ее, почему она это сделала.

Ксендз перестал приходить в столовую, и это тоже давало много пищи для размышлений. Ходил, видимо, в харчевню, чтобы поесть. И однажды она принесла второе как раз к столику, где я сидел, когда кто-то прибежал с известием, что Ксендз упал с лесов. Упал или не упал, в любом случае, крикнул на всю столовую, что он упал. А у нее была последняя тарелка, которую надо было поставить на столик, и это – как раз передо мной, так эта тарелка вдруг выпала у нее из рук и об пол – хрясь. Вмиг залившись слезами, она закрыла лицо руками и с плачем побежала на кухню. Что там на кухне творилось, не скажу того пану. Но в столовой некоторые могли подумать, что все это – из-за тарелки.

Мы все бросились в двери, выбежали из офисов, из дирекции, со всей стройки люди сбежались, сразу такая толпа образовалась, что трудно было пройти к месту, где упал. Там кто-то послушал его пульс, сердце, но он уже мертвый был. Вскоре приехала скорая, милиция, начались допросы, искали свидетелей. Не без причин, скорее всего, это случилось, а произошло, насколько помню, в обеденное время.

Ее в тот день больше не видел. А он в тот же день вечером уехал. Несколько следующих дней она не подавала в столовой. Подменила ее одна из поварих. Говорили, что она на больничном, но скоро придет. И она пришла. Только не узнал бы ее пан. Принесла кому-то из этого иностранного контракта суп и сразу же спросила, когда он придет. Ничего не сказали. Принесла им второе и опять спросила, когда он придет. А когда снова ничего не сказали, она устроила им такой скандал, что встали и ушли. Она плакала, кричала, что сами приходят поесть, а ему велят работать. Сломается на этой работе. Уже и так плохо выглядит. Бледный, сами видите, фигура изможденная. На другой день ее уволили.

Приходила потом время от времени в столовую, становилась у окна раздачи на кухне и просила поварих, мол, просто хочет ему подать, когда он придет. А поварихи как поварихи, иди сюда, к нам, присаживайся, мы скажем, как придет, так и подашь ему, отсюда видна дверь, зайдет, мы скажем.

Можно было также встретить ее, как перед воротами стоит и ждет его, когда он выйдет с работы. Все уже вышли, а она все ждет, иногда до сумерек, до ночи. Дождь шел, дождь лил, иногда как из ведра лил, ждала. У нее не было даже зонтика, неизвестно, что с зонтиком случилось. Из жалости охранники иногда забирали ее в караульное помещение, чтобы и дальше не мокла. Или прогоняли ее, нечего, мол, ждать.

– Муж мой тут работает, – отвечала.

– Работал, но уже не работает. И какой он тебе муж.

– Муж, клялся. Я была в свадебном платье, ксендз нас венчал.

– Да какой он там ксендз. Сварщик. Впрочем, уже был. Умер он.

Не раз она умоляла их, чтобы впустили ее на стройку:

– Впустите меня.

– Пойми, девушка...

– Я скажу ему, что жду.

Иногда ее все же впускали. А нет, так через дыру в заборе проходила. Знала ведь все дыры. Даже когда ее видели, что где-то там бродит по стройке, не прогоняли ее. Закрыва-

ли на это глаза. Если бы даже кто-то из дирекции, так могли отговориться, что не пустили, мол, ее через ворота. Впрочем, она только спокойно ходила по строительной площадке. Никого не цепляла, никого ни о чем не спрашивала. Как кто-то шел, так уже не пряталась. Ее тоже никто ни о чем не спрашивал, все знали. Порою сидела себе где-то и сидела в глубокой задумчивости, как будто даже не видела, где она.

Иногда я встречал ее, когда еще работал на стройке. Раз, уже почти под вечер, сидела на каком-то ящике.

– О, паненка Бася, – сказал я.

– Я уже не паненка, – сказала. – Замужем я. А ты, кто ты?

– Электрик, пани Бася.

– Ах, да. Помню тебя по столовой. Нравился ты мне. Такой застенчивый, я помню. Ты хотел, чтобы я стала твоей женой, я знаю. Многие хотели.

Удивила меня, никогда ей этого не говорил. И собирался сказать ей, что не только хотел, но и теперь хочу, чтобы она осталась. Может, пан не поверит, но я почувствовал вдруг что-то подобное, захотел оказаться вместе с ней в этом ее несчастье. Настоящая любовь – это раны. И только так ее можно найти в себе, когда чьей-то болью человек страдает, как своею.

Но она упредила мои слова:

– Только что вы, на строительных площадках, где стройка, там и жена. Что вы знаете о любви.

И мое мужество оставило меня.

– Помоги мне выйти отсюда, – сказала она.

– Там ворота, — сказал я. — Я провожу пани Басю.

– Не хочу через ворота, – и она посмотрела на меня так, будто прежними глазами, теми, из столовой. – Ты до сих пор мне нравишься, знаешь? Но у меня уже есть муж.

8

Расскажу пану, как изменилась моя жизнь. Ну, этот кладовщик. Я же говорил пану. Кладовщик, а оказался саксофонистом. Не знаю, чему пан удивляется. Тогда мало кто был тем, кем был. Ксендз, а сварщик. И много таких работало на стройках, скрытых за различными профессиями. Что это за человек, часто можно было узнать только благодаря водке. И то не с первого раза. Если кто не пил, или только время от времени, тому не было доверия. Через это и спивались. Те, кто за это отвечал, проверяли, но не особо утруждаясь. Потом уже, со временем, стали глубже копать по биографиям. Или взывать к совести. Тем более, что совесть оказалась чем-то другим, чем была до сих пор. Вы думаете, совесть это что-то постоянное? Жаль, пан не работал тогда на какой-нибудь стройке. Или, вполне может быть, где-нибудь в другом месте. Но я работал именно на стройках, поэтому могу говорить только о них. Пан, каждое изменение мира – это посягательство на совесть. А уж особенно когда речь идет о том, чтобы изменить мир на новый, лучший, то в первую очередь дело идет к тому, что надо менять совесть.

В любом случае, столько разных людей пан нигде больше не встретил бы. Каменщики, бетонщики, штукатуры, сварщики, электрики, крановщики, водители, снабженцы и прочая, прочая; плюс еще и в офисах, а оказывалось, что этот был тем, вон тот – этим, тот был отсюда, другой оттуда, после лагеря, тюрьмы, из армии такой, другой, после восстания, из леса, с отбитыми почками, без зубов, ногтей, без возраста, который невозможно было определить, или совсем еще молодые, а уже поседевшие. Каждая такая стройка была самая настоящая Вавилонская башня, только что не языков, а человеческих судеб. Хотя были и такие, и совсем даже немало, которые сами себе меняли профессию, специальность, чтобы включиться в построение нового лучшего мира, потому как в старый они уже не верили.

Я уже не помню, на какой стройке, работал один в планировании. Стоило сказать – ну этот, с планирования, и каждый знал, о ком речь. А за водкой проговорился, что был учителем истории. У него крышу сносило от водки, выпил и начал было говорить, что история его обманула. Нет, пан представляет – история его обманула. Как будто история могла кого-либо обмануть. Это мы обманываем историю, в зависимости от того, чего хотим от нее.

Впрочем, как по мне, каждый живет для себя, и каждая жизнь – это отдельная история. Если мы пытаемся все влить в один сосуд, один безразмерный сосуд, из этого еще не следует правда о человеке. Можно ведь представить себе такую историю отдельных людей, какие когда-либо жили. Пан считает, что это невозможно? Знаю, что невозможно. Но представить себе – можно. Ничего ведь не существует в совокупности, а тем более – человек. Не знаю, откуда пан смотрит на этот мир. Я смотрю, как уже говорил пану, с той или иной стройки. На них всегда были разные, отдельные люди, не похожие друг на друга. Говорилось, как это принято говорить у историков, – коллектив, но это – только на собраниях.

На одной стройке, например, работал студент философии. Собственно, учебу он уже закончил, оставался только один экзамен, когда началась война. А после войны выучился уже на паркетчика. Бригадиром даже был, я немного дружил с ним. О, хорошо пил. Голова у него не только под философию была заточена. И как-то раз выпили мы, и он начал рассказывать об этой своей неоконченной учебе, а кто-то возьми, да и спроси его:

– И почему не закончил? Мог после войны. Что там – один экзамен.

Его глаза налились кровью, а мы и выпили-то еще не так много.

– А на черта?! На что мне философия после всего этого?! Ни один разум бы этого не понял?! Ни один Платон, Сократ, Картезиус¹⁷, Спиноза, Кант! Ну их всех, к чертям собачьим! – и со всей силы хряснул бутылкой водки по столу.

Переглянулись мы между собой, но никто из нас не знал ни одного из тех, что так ему допекли. Правда, и спросить за них никто не решился, потому как, вполне возможно, что и доводилось знать. Просто забыли со временем. Кто-то только и сказал:

– Видно, везде можно встретить таких, скурвившихся. Не только на стройках, – и налил ему полный стакан. – На, выпей.

Пусть пан мне поверит, если бы я не работал на стройках, ну и если бы не пил... В любом случае, как жить, я научился на строительных площадках. И это благодаря самым разным людям, которых я на них встретил. В других же местах, уверен, я бы с ними никогда не познакомился. О, много чем я им и обязан, и благодарен. Даже так скажу, любому из них, вполне возможно, и жить не хотелось. У них на то были самые разные причины. А тем не менее – жили. Прежде всего, обязан им тем, что не раз и не два они на своем примере доказывали: даже если нет такой цены, которую человек в состоянии платить, и взять ее неоткуда, все равно – надо жить. Но что самое главное, я убедился в том, что и сам не был исключением из этого правила. А если так, то, соответственно, получалось, что вот такими исключениями и заселен наш мир. Но все это выходило только за бутылкой водки. Так как же было не пить?

Один, например, в социальном отделе работал, мыло, полотенца, резиновые сапоги, рукавицы выдавал, и кем ведь только мог быть, а за бутылкой водки оказывался тем или тем-то. Другой – на экскаваторе, и казалось, что вне этого экскаватора только что и умеет – водку пить, а после одной, другой пол-литра стихи нам наизусть декламировал, иной раз того же Цицерона по-латыни. И благодаря водке его даже слушали.

На другой стройке работал довоенный полицейский. Не знаю, согласится ли пан со мною, что любое изменение мира начинается с полиции. Ему пришлось прятаться, потому что во время войны тоже был полицейским, организация ему приказала. Не было, естест-

¹⁷ Рене Декарт. Происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода де Карт. Отсюда впоследствии произошло его латинизированное имя Картезиус и направление в философии – картезианство.

венно, справки, чтобы он мог после войны предъявить. Кто бы ему выдал ее? Может, еще и с печатью? Те, кто мог бы подтвердить, по всей видимости, погибли. Сколько их, впрочем, могло быть? Два, три максимум. Поэтому после войны постоянно переезжал с места на место, чтобы запутать за собой следы. У него уже была пара профессий, которым научился за это время. На нашей стройке был штукатуром. Но, как по мне, слишком много пил. А когда напивался, рвал рубашку на груди и стучал, аж грохот стоял, что это организация ему приказала. На водке тоже действовала граница честности. Я никогда не говорил слишком много, максимум, то же самое, что и на предыдущих стройках. Он же, между тем, так накручивал и себя, и слушателей, что это организация ему приказала, клялся на остробрамскую богоматерь, что тем более не могло вызывать подозрение, потому что Богородица Остробрамская уже была не наша¹⁸. Полицейский, а не умел пить холодную водку.

Были и такие, что хоть пили допьяну, заливая водкой свое отчаяние, что сердца у них мало не разрывались, а не сказали ни слова больше того, что хотели сказать. О, кто пьет по призванию, а не от случая к случаю, знает способы, как сказать много и при этом ничего не сказать, как смеяться, когда внутри не до смеха, как во что-то верить, когда ни во что уже не веришь, даже в новый, лучший мир.

С этим полицейским не знаю, что случилось, потому как вскоре я перешел на другую стройку. Не было особой причины. Может, мне казалось, что на другой стройке буду меньше пить или вообще брошу. Впрочем, когда я на одном месте работал слишком долго, чувствовал что-то подобное тому, как будто эта стройка начинала меня душить, высасывать. Поэтому долго я не выдерживал, переходил на другую. Пан, наверное, думает, каким нетерпеливым я был в молодости. Но это не так. Просто был не в состоянии привязаться к какому-либо месту. Я даже боялся того, что смогу привязаться.

Нет, с этим у меня не было проблем. Я был хорошим электриком. Меня всегда ставили на монтаж самого сложного оборудования. Какие-то новые машины, устройства, подключения, меня – всегда. Не было аварии, которую я не смог бы устранить. Похвал я наслушался, дипломов мне понавручали. Ни одна премия меня не обошла. Или даже когда у какого-либо директора что-то ломалось в его квартире, всегда по просьбе директора или его жены меня туда отправляли. Вообще-то мог бы и любой пойти, потому как утюг или электропечь, или просто лампочка перегорела, но вызывали – меня.

А пан часто менял работу? Никогда? Разве такое возможно? Неужели пану было так хорошо на одном месте? А, можно ли узнать, на какой должности пан работал? И не поднимался в должности выше и выше? Нет, не понимаю этого. Каждый ведь хотел бы подняться, хотя бы на одну ступеньку, но выше. Для большинства, это – цель жизни. А пану... Неужели все равно? Нет, тут я уже ничего не понимаю. И что это за учреждение или предприятие? Пан не может сказать? Я понимаю. Прошу у пана прощения, что спросил об этом.

Мне нигде не было лучше. Не в том смысле, что все лучше и лучше зарабатывал. Может, к смене мест меня немного подталкивала надежда на то, что там, куда уйду, будет, по крайней мере, иначе. Но везде было одно и то же. Выпивал, как и на предыдущей стройке. Пока совсем не спился. И только на этой стройке, где играл в оркестре, ну и где встретил этого кладовщика, работал уже до самого конца. Несмотря на то, что продолжалась она долго. Так долго, как ни одна из прежнихстроек.

Сейчас, на какой стройке это было? Впрочем, все равно. Работал один, трудно даже сказать – работал, начислял сверхурочные часы. Мы о нем ничего не знали. Даже любопытства не возникало, кто он такой. Потому как, что это за работа – начислять сверхуроч-

¹⁸ Не наша – рассказчик имеет в виду, что икона Божией Матери Остробрамской (лит. Aušros Vartų Dievo Motina, польск. Matka Boska Ostrobramska, белор. Маці Божая Вастрабрамская) —находится в католической часовне над городскими воротами Острая брама в Вильнюсе, который после 1939 года, а окончательно по итогам Второй мировой войны, отошел к Советскому Союзу.

ную работу. Водки почти не пил, разве что если мы его приглашали, когда выяснялось, что нам эти сверхурочные надо подсчитать.

А как-то приехали на машине двое гражданских и один военный, спросили его, он ли это. Он. Скрутили ему руки, надели наручники. После чего затолкали в машину, дали газ и уехали. И все, он уже не вернулся. А мы так и не узнали, кем он был. Начислял сверхурочные, вот и все.

Правда, какая-то пища для размышлений у нас могла бы возникнуть, потому как ходил он всегда прилично одетым: пиджак, галстук, отутюженные брюки, всегда выбрит и пахло от него или туалетной водой, или одеколоном. С женщинами, без разницы, уборщица или главный бухгалтер, когда здоровался, всегда руку целовал. И никогда о женщинах не говорил иначе, кроме как – прекрасный пол. Прекрасный пол, панове. Потрясающе сексуальна, панове. Никогда ни с кем не перешел на «ты». Хотя... Может и перешел, если бы почаще с нами пил. Но мы его приглашали только когда хотели поблагодарить за эти сверхурочные. Но, ничего не скажешь, почтенный был господин. Приглашали, вообще-то, его, а он, несмотря на это, всегда приносил с собой, по крайней мере, пол-литра.

Да, если еще о нем, вспомнилась такая мелочь. Никогда не взял с тарелки рукой, как мы все, колбасу там или огурец. Всегда вилкой. Приходил с вилкой, когда мы его приглашали, а вилка была завернута в салфетку. Вы позвольте, панове, я вилкой, привык так. А колбасу никогда не ел с кожурой. Всегда очищал. Я так не раз думал: может, если бы не эта вилка... Может, если бы брал руками, как и все мы, да не снимал бы с колбасы кожуру. Иногда мелочь, а следы, как на снегу.

Так и этот кладовщик. Вроде бы говорил пану, что завод по производству стекла строили. В чистом поле. Зерно уже почти вызрело, но не разрешали людям косить. Мы даже, что поможем и скосим, жаль, столько хлеба, сколько хлеба пропадет, а хлеба тоже зачастую не хватало. Но нам – нет, мол. И так план завален. Надо было еще в прошлом году начать. Крайний срок – весной. Поэтому и подгоняли нас, быстрее и быстрее, аккорды, никаких праздников, пьянок, отгулов, ночные смены. Города ждут стекло, деревни ждут, ждут фабрики, школы, больницы, офисы, как будто все должно было из стекла строиться. А здесь еще этого не привезли, того не доставили, чего-то не хватило, и стройка начала пробуксовывать, чуть ли не встала.

Ну, и на этой стройке был кладовщик. Не был он похож на кладовщика, так скажу пану. Если бы пан его увидел, не поверил бы, что кладовщик. Сутулый, голову с трудом поворачивал. Ходил, как будто двигал ногами, передвигал их, а не шагал. Говорили, что это с войны, из-за допросов. Но, похоже, он никого не выдал и ни в чем не признался. Не знаю, правда, неправда. Я никогда его об этом не спрашивал, а сам он тоже ничего не говорил. Люди тогда не любили откровенничать. А еще левая рука не очень хорошо его слушалась, в дождливую погоду он ее частенько потирал. И тоже никогда не говорил – почему, хотя было похоже на ревматизм. А если кто и спрашивал, так часто отвечал, что не о чем тут говорить. Правая – тоже была не совсем в порядке. Квитанцию выписывал на какую-либо деталь, так химический карандаш, чтобы тот не дрожал, со всей силы прижимал этой рукой к накладной. А карандаш у него всегда был крохотный, еле-еле между пальцев у него выглядывал.

Каждый новый карандаш резал на четыре и такими крохотульками пользовался. Не для экономии. Когда у пана весь карандаш в руке и его кончик высоко над кистью поднят, не знаю, как пан его к накладной прижмет и будет ли он пана слушаться. То, что он у него в руке дрожал и так, по накладной, было хорошо видно, поэтому даже если он вам, допустим, написал только единственное слово: винт – все одно, это было настоящее искусство.

Да, еще и на один глаз почти не видел. Для того, чтобы ввести в заблуждение, смотрел на вас тем, что почти не видел, тот, что видел, прикрывал. Или попеременно, немного тем, немного этим, что еще больше вводило народ в заблуждение. И всегда всем недоволен был. О-оо, страшный был ворчун. Придешь за какой-то деталью на склад, так прежде чем накладную выписать и выдать, практически целое расследование проводил: зачем, на что,

где, для чего. А что напридумывал при этом! Типа, что из тех деталей, что мы портим, вторую такую стройку уже можно было бы отстроить, да и воруют мы, поди. Знает, знает. Ты, может, и нет. Но все воруют. Хотя официально считается, что воруют – не свои.

Слух зато у него был, скажу пану. Может, из-за этого слуха и сделали его кладовщиком. Стоишь возле него, он тебе накладную заполняет и, не отрываясь от нее, вдруг спрашивает:

– Что так скрипишь?

– Как это скрипишь? Я стою.

– Скрипишь, я слышу.

Или:

– Что, астма у тебя? – а человек здоров, как конь. – Пьете, курите, вот вам и не хватает дыхания, того и гляди помрете.

Как выдавал какую-то деталь, всегда должен был приложить ее к уху. Если была тяжелой – наклониться над нею. И после этого говорил, все, мол, хорошо, или я выдам тебе другую. О, слух, кто знает, на складе много значит, даже как бы не больше, чем зрение. Склад занимал весь барак, ему постоянно приходилось ходить по нему, искать. А так сидел за столиком и слышал все от одного конца барака до другого. При этом и мышь бы у него не проскочила, тем более, если бы кто-то там, в другом конце, захотел стекло вынести.

Никто на стройке и не подозревал, что он саксофонист. А сам он об этом не распространялся. Играть – давно не играл. Но иногда, когда неожиданно зайдешь на склад, складывалось впечатление, будто оторвал его от прослушивания. Может, склад слушал. Потому что музыку, как он говорил, слышно даже в камне.

И дальше бы никто не знал. Только решили создать на стройке оркестр. Сверху пришла такая рекомендация, если численность коллектива составляет более или столько-то там человек, а строительство по плану долгосрочное, должен быть музыкальный, танцевальный коллектив или хор, или театральный кружок, потому как необходимо позаботиться о культурном досуге для трудящихся. Стали поэтому искать на стройке, кто на чем играет. Я сообщил, что играю на саксофоне. Правда, со школы не играл, а прошло уже несколько лет. И я думал, что уже никогда не буду играть. Хотя, не скажу, тянуло меня. Иногда, как не мог заснуть, представлял себе, что играю. Слышал, как играю. Чувствовал во рту вкус мундштука. А, между прочим, каждый мундштук имеет свой вкус, в этом, собственно, для музыканта – особый шик. Даже чувствовал, как кончиками пальцев касаюсь клапанов. А на пояс и шею этот мой воображаемый саксофон давил, пожалуй, сильнее, чем весил настоящий. Иногда даже видел полный зал людей, видел, как они танцуют, я им играю, хотя не знал других залов, кроме пожарных.

Но это, в основном, только когда не мог уснуть. Днем не было ни минуты свободного времени, чтобы что-нибудь представить. Человек настолько был вымотан работой, что только водка, одна водка помогала вернуть ему волю к жизни. Все «давай, давай», из-за этого иногда ночью возвращались с работы, потому что, как я говорил, с планом вечно была полная задница, так что оставалась только водка. Я и не надеялся, что меня возьмут. Но подумал – попробую. Потому как все пробовал. Пытался читать, пытался не пить, пытался верить в новый, лучший мир, пытался влюбиться. Может быть, это было бы самое лучшее. Только, чтобы влюбиться, нельзя работать с утра до самой ночи, потому что потом уже хочется только спать. А нужно – хотя бы раз-другой пойти на танцы. Но чтобы пойти на вечеринку, надо бы уметь танцевать. А я даже танцевать не умел. Нет, в школе не устраивали вечеринок, и никуда нельзя было ходить на вечеринки. Старшие пацаны как-то тайком куда-то выбрались, подрались с местными, было расследование, так потом даже ночью проверяли, все ли спят.

Иногда устраивали себе такие как бы развлечения по вечерам в воскресенье, в клубе. Осенью, зимой вечера длинные, уроков, занятий не было, по воскресеньям мы не работали. Украшали клуб, вывешивали объявление, что вечеринка. Выбирали нескольких для

оркестра, младших определяли девушками, старшие были за кавалеров. Только какое могло быть развлечение, если не умели танцевать, потому как – откуда? Может быть, один, другой что-то там умел, но большинство оттаптывало друг другу ноги. Постоянно раздавались проклятия, брань. Такой-сякой, наступил мне на большой палец, наступил мне здесь, наступил мне там. Сапогом... Сапогом наступил, черт тебя побери! Поимел я где-то такую девушку! Слова летели худшие из худших. На цыпочках, сукин... и так далее, танцуй. Пусть пан простит меня, я повторяю.

Только как можно было на цыпочках, если мы ходили в ботинках, подбитых гвоздями, в них же и танцевали. У нас не было других на смену. Летом, зимой, в одних и тех же. Максимум, можно было босиком. Попробовали босиком, так заноз позагоняли себе в ноги, потому как пол был щербатый, подранный, исковырянный этими гвоздями от обуви. А наступит один другому нечаянно на босу ногу, так тот аж вззоет. И не раз били такого неаккуратного, особенно, если это «девушка» наступила. То есть кто-то из нас, младших. Ох, доставалось ей тогда от «кавалера».

А если оркестр играл что-то более-менее быстрое, так уже топтали друг другу ноги не только те, что танцевали в паре, весь клуб топтался, как будто нарочно друг с другом сталкивались, друг друга сваливали на пол. О, тогда уже извергались вулканы проклятий, брани, доходило до драки, порою кто-нибудь мог даже вытащить нож. И может ли быть весело, когда никто никого не обнимает, никто никому не шепчет на ухо ласковых слов. Максимум, если кто-то из кавалеров приказывал девушке, чтобы с ним танцевала, иди сюда, ты, кусок дерьма.

Старшие, то есть кавалеры, в основном, отрывались на этих танцах на нас, то есть «девушках». Так-то каждый день отрывались, но на вечеринках у них уже не было никаких тормозов. Да какие там учителя. Пришел который из них, посмотрел, да и пошел себе. Тогда все как раз вежливо танцевали. Не услышал бы пан, чтобы кто-то кому-то на пальцы наступил, или чтобы кто-то выругался. Но только учитель уходил, представляете, что начиналось. Вечеринка сразу теряла все показные приличия, часто даже свет гасили. Ну а что в темноте творилось, лучше уж и не говорить.

Был распорядитель, а как же. Один из старших пацанов. Вечно он, на каждой вечеринке. Прикрепил себе связку из лент у плеча. Умел немного танцевать. Болтливый был, языкастый. Всегда держал сторону старших. Даже не знаю, был ли самым худшим из них. Казалось, хороший был, никогда не ругался, не обзывал, когда ему наступали на ногу, только и говорил – извинись. Но как танец заканчивался, выводил свою «девушку» на улицу, типа, надо выйти, пройтись, а там уже делал с ней, что хотел. Частенько до крови избивал. Кому бы пан пожаловался? Да тогда бы он сильно пожалел об этом.

Определял, кто с кем в паре по росту, по комплекции, и на обычный танец, и на белое танго. Когда «девушки» должны были приглашать кавалеров на это белое танго. Как распорядитель следил, указывал, ты с этим, ты с тем. И если кто-то пытался упираться, он брал его за шею и подводил, приглашай его, а нет – плохо будет. И ваша шея чувствовала, как рука, что держит ее, сжимается.

Скажу пану, долго потом боялся танцевать. Вопреки своей природе оттолкнул меня танец от себя, хотя он, напротив, должен привлекать людей не только друг к другу, но и к себе. Может потому, что всю школу я был за «девушку», а в этом случае совсем по-другому на все смотришь, по-другому себя чувствуешь, и даже в танец нелегко поверить. Только когда начал играть в этом заводском оркестре, преодолел себя и в танце. Оркестр должен уметь танцевать, а не только играть танцевальную музыку. Тем более, саксофонист. Из тех, что написали заявления, выбрали нас, семерых. Приехал инструктор, привез инструменты, опросил нас. Ну и сказал, распоемся, мол, сыграемся, и какой-то там оркестр из нас будет. Нет, саксофон привез только на следующий раз и отдельно со мной поговорил. Спросил даже, где я научился так играть, молодой ведь. Или уже играл в каком-то оркестре? Я сказал ему, что в школе. Да, это, похоже, была школа высокого уровня. Замечательные учителя должны были быть. Я сказал, да, был один такой, особенный.

На каждом инструменте надписали что-то, указывающее на то, что это – заводское. Как на столах, машинах, телефонах, инструментах, полотенцах и всем заводском. Каждому пришлось расписаться в ведомости, что получил такой-то и такой инструмент в пользование и отвечает за него. Купили нам фирменные костюмы, чтобы мы выглядели одинаково, серые костюмы, белые нейлоновые рубашки, галстуки в один цвет и одного фасона. Висели в шкафу в социальном отделе и под расписку их выдавали нам только на выступления. Только носки и обувь у каждого были свои.

Этот инструктор приезжал потом в течение нескольких месяцев, и у нас с ним были репетиции: два, иногда три раза в неделю. Естественно, после работы, потому как освободили нас только от сверхурочных. А чтобы мы не потеряли на этом, нам каждый день дописывали по два часа, что мы репетируем. По правде говоря, уже после нескольких репетиций инструктор был нам не нужен, потому что каждый умел гораздо больше, чем он. Один – бетонщик, другой – сварщик, паркетчик, крановщик, учетчик или, как я, электрик, но, помимо меня, все уже когда-то играли в каких-то оркестрах. Этот в военном, другой в санатории, в уличных оркестрах во время войны, перед войной. У одного была неоконченная высшая музыкальная школа, один был органистом, а у одного отец играл на скрипке в опере, и он от отца научился играть, как сам говорил, даже лучше, чем отец. Меня они приняли в оркестр только потому, что я оказался единственным добровольцем на саксофон. Да, тогда саксофон был не самым обычным инструментом. Редко встречался в оркестрах. В мире – да, но не у нас, тем более, в заводских, да еще и на стройке. Но именно саксофон внес свой вклад в нашу удачу. Да, наличие в оркестре саксофона давало нам преимущество перед другими коллективами. Так что скоро нас стали приглашать здесь, там, туда, на другие стройки, на заводы, фабрики, в воинские части. Не только на вечеринки, но и в случае, если тот или иной праздник, юбилей, в дома культуры, чтобы мы выступили в художественной части мероприятия.

Скажу пану, для строительства от нашей игры иногда была большая польза, чем от той же дирекции. Чтобы не быть голословным, как-то играли мы в доме культуры цементного завода. А может пан знает, как тогда было с цементом. Со всем, что правда, то правда. Только что без цемента на стройке – никуда. Иногда приходилось выклянчивать каждую тонну, устраивать вечеринки для дирекции цементного завода, совета предприятия, помнить дни рождения тех, кто хоть что-то да значил, и от кого что-то зависело, завозить подарки. Или посылать телеграммы, звонить. А когда ничего не помогало – жалобы наверх, только это мало когда помогало. Стройка, как стояла, так и стояла.

Попросили меня, чтобы я выступил соло на саксофоне специально для жены директора цементного завода, потому что у нее как раз в этот день именины были или, может, день рождения. Не помню точно. Так и объявили, что я, мол, буду играть для нее соло, а оркестр, типа, только как фон. Я отбивался, мол, соло еще никогда не выступал. Но, потом подумал – в конце-то концов! – это и для меня будет хорошая проверка. Она сидела в первом ряду, рядом с директором, довольно красивая женщина, брюнетка, как помню. Играю, вижу, что лицо у нее посветлело, глаза затуманились и сама, похоже, где-то далеко-далеко, ну, я и раздухарился, забацал, как мог. А как закончил соло... В зале – мертвая тишина. И вдруг она как вскочит из своего первого ряда и, не оглядываясь ни на кого, как начала аплодировать. А за ней – весь зал! Некоторые даже жарче, сильнее, чем она. И не было у нас уже никаких проблем с цементом. В худшем случае на день-два задержат поставку. А весь оркестр получил премию.

Но это было уже после того, как я с ним расстался. Ну, с этим кладовщиком. А расстался, потому что выступали у нас, на стройке, тоже был какой-то праздник, несколькими вручили медали, дали десяток, или около того, грамот. На другой день пошел к нему на склад за какой-то деталью, он выписывает мне квитанцию и, так обиженно, говорит:

– Кое-как играли. Не будет из вас никакого оркестра. Плохо сыграны и мало что умеете.

Меня аж заколотило, да что мне какой-то кладовщик. Зал аж гудел от браво, аплодировали куда как сильнее, чем после выступления директора, все нас поздравляли, я руки не успевал подавать, а здесь – кладовщик. Подумал, пусть только выдаст мне эту деталь, уж я ему скажу на выходе.

Вдруг подобрел:

– У тебя есть немного от искры Божьей. Но саксофон... Нет, даже не думай. В этом оркестре ты потеряешься. Конечно, будут хлопать. Потому что кто здесь и когда слышал саксофон хорошего, достойного уровня игры.

Меня даже передернуло: а он?! Он-то где слышал? И тогда признался, что был саксофонистом, до войны много лет играл, и во многих оркестрах.

С удивлением слушал я его, потому что сверху, как говорится, и гроша бы ломаного не дал пану. Забыл, за какой деталью пришел, и скажу пану, до сих пор не могу вспомнить – за какой. Одна только мысль и билась у меня в голове: поверить ему – не поверить, поверить – не поверить.

Слова не давались ему легко, видно было, что он их чуть ли не выдавливает из себя. Два, три и перерыв, два, три и перерыв, и они – слова – получались далеко друг от друга, как будто у него не хватало сил соединить их в единое целое. Или это мне только казалось, потому что все время разговора я не мог поверить, что эту накладную мне выписывает не какой-то кладовщик, а саксофонист. Самый настоящий саксофонист! Из того, что говорил, играл на всех саксофонах, но чаще всего на альтовом. Ну а когда начал перечислять, где только не играл, скажу пану, я слушал, а словно мне снилось. В Вене, в Берлине, в Праге, Будапеште, и это если речь – о столицах, а так – и во многих других городах. А сколько стран объехал. Начал перечислять заведения, в которых играл, так я даже подумал – не выдумывает ли. Парадиз, Эльдorado, Шахерезада, Аркадия, Эдем, Плутон, Империял. Хотел его спросить, что все эти названия значат, но не хватало мне смелости. А что если вдруг подумает: что, и ты хочешь быть саксофонистом? Да как, если даже этого, элементарного не знаешь! Да, и на пассажирском судне играл, которое ходило рейсами на Америку. Правду говорит или неправду, я уже и не думал, так меня поразила сам факт того, что саксофон может так человека вести по миру, и это говорило мне, что о саксофоне нужно думать иначе, по-другому.

Вернулась ко мне мысль, может, снова начать откладывать, из каждой зарплаты – перво-наперво, а так, по крайней мере, хотя бы часть из того, что тратил на водку. Не буду же ведь всю жизнь играть на заводском саксофоне. А если вдруг перейду на другую стройку и там не будет оркестра?

Как-то днем снова я зачем-то зашел к нему на склад, а он меня из-за накладной и спрашивает:

– Саксофон-то свой у тебя есть?

– Нет, только этот, заводской. Когда-то копил, откладывал на него, но тут как раз – обмен денег. Думаю, может, снова начать откладывать.

– Не надо, не откладывай, – сказал, выписал мне накладную, и больше ни слова.

Я подумал, наверное, считает, что не стоит, потому как снова может дойти до обмена денег. А до обмена денег, как перед смертью, никогда ничего не успеть. Это – жизнь. А ее надо знать.

С того разговора прошло несколько недель, проходил мимо склада, а этот вышкандыбал из него и кричит:

– Зайди ко мне!

– Времени сейчас нет. Позже приду, – на самом деле спешил.

– Нет, сейчас. Позже обычно бывает слишком поздно.

– А что, у вас какие-то срочные дела? – вижу, у него на столе лежит футляр.

– Открой, – говорит.

С трепетом в сердце открываю и глазам своим не верю.

– Саксофон, – говорю, но все еще не верю.

– Саксофон, – говорит. – Был в воскресенье дома, вот – привез. Зачем ему бесполезно лежать?

– Золотой, – говорю и чувствую, что дрожу.

– Золотой, – говорит. – Альтовый. Да, не малую часть этого света он объехал со мною.

– Сколько бы вы хотели за него? – я, наконец, набрался мужества, а мысленно уже начал занимать у всех друзей на стройке, в офисах, в кассе взаимопомощи. И где бы еще, где бы еще, словно гончий гнался я за своими мыслями, потому как был уверен, что все места, где я мог бы хоть что-то одолжить, все это – недостаточно. Он тоже как будто начал задаваться вопросом, какую цену мне назначить:

– Сколько? Сколько? Да откуда ты знаешь, что я хочу его продать? Такие вещи, вообще-то, – не для продажи. В этой жизни немало такого, что не продается.

И говорит мне, что если я не против, то мог бы после работы или в воскресенье приходить к нему, на склад, и мы бы играли. То есть я бы играл, он бы слушал. Все лучше, чем водку пить или в карты играть. Тем более, пока мало что еще умею, а у саксофона, как и у человека, – достаточно тайн. Некоторые он мне откроет, другие я сам должен, не то, чтобы не хотел об этом мне говорить, просто ему и самому не удалось их открыть.

– А что, в месяц сколько это будет стоить? – спрашиваю.

– Ничего не будет стоить. Ты будешь играть, я – слушать. Сам видишь, играть не могу. С трудом устроился на это место кладовщика. И то только благодаря добрым людям, есть еще такие. Болею я, недолго мне уже.

Так и пошло. Прежде всего, вбил мне в голову, что саксофон – не только инструмент. Злостью, гневом или обидой ничего у него не добиться. Терпением и работой. Работой и добросовестностью. Если хочешь, чтобы саксофон с тобой породнился, как душа с телом, надо открыться перед ним. Если ты ничего не будешь скрывать от него, то и он – ничего от тебя. А на любой твой обман закроется и не допустит к себе. Ни тпру, ни ну, хоть все легкие выдуй. Легкие, вообще-то, это – не все. Нет, так-то будет играть, но по сути – будет мертвым. Ты должен всем собою играть, и своей болью, своим плачем, своим смехом, надеждами, снами, всем, что есть в тебе, всей своей жизнью. Потому что все это – музыка. Не саксофон, ты сам – музыка. Но я должен попотеть, порядком попотеть, талдычил он мне, если хочу услышать себя в саксофоне. Потому что только тогда будет музыка.

Скажу пану, я поначалу даже боялся этого саксофона. Что это за саксофон, думал? Играю на заводском, а это ведь тоже – саксофон, но ничего такого, о чем он говорит, не чувствую. И поначалу на этом мне игралось намного хуже, чем на заводском. Впрочем, трудно сказать, как мне игралось, потому что мы в основном отрабатывали гаммы. То есть он мне говорил, ну а я – отрабатывал, заучивал. И так – снова и снова, гаммы и гаммы по всей шкале саксофона. Злило это меня, но что оставалось делать. Потом он привез несколько страничек с нотами и мы перешли на какие-то экзерсисы, этюды, фрагменты, но не давал мне сыграть никаких произведений целиком, только отдельные куски. Куски, куски и так – без конца, только через какое-то время позволял эти куски состыковывать, сопоставлять. Для чего один звук часто просил играть до изнеможения. Уже и дыхания нет, а еще повторять и повторять, пока не скажет: ну, может быть.

Приходил я к нему после работы, а уходил, когда на стройке уже воцарялась ночь. Спать потом не мог, проигрывал мысленно и то, и это, иногда эти мои проигрыши даже снились мне. Как-то сказал, что плохо держу мундштук, поэтому зря так много дую. У меня плохая постановка губ, слишком сильно прижимаю их к мундштуку, и воздух ускользает от меня, выходит из уголков губ. Нам надо это изменить. И снова, уже другим разом, что я слишком сильно сжимаю пальцы, пальцы у меня жесткие, а должны быть свободными, клапанов нужно касаться самыми-самыми их кончиками, подушечками. И подушечки должны быть чувствительными, как только коснулся клапана, я уже должен чувствовать. Потому что не клапанов я должен касаться, когда я играю, музыки должен касаться. Черепахи у тебя, а не руки. Беспомощные черепахи в панцире. Тренируйся. О, вот здесь, в финале, должны сгибаться под прямым углом. И на работе – занимайся. А то

ведь это от работы у меня так, потому что не так много движений требуется от электрика. Иногда посещали меня сомнения, в самом ли деле он саксофонист, или только так, на складе сидит и от скуки представляет, что он – саксофонист, как мог бы себе представить, что он – любой другой, только не кладовщик. Может даже когда-то немного учился играть, отсюда и этот саксофон, но все остальное – это только видимость, фантазия. А такие иногда бывают адом для самих себя и частенько в этот ад они пытаются втянуть и других.

Ни разу не взял в руки саксофон, чтобы показать мне, как надо то или иное сыграть, если я плохо сыграл.

– Я бы показал, но как? – говорил он. – Одной рукой? И так еле-еле накладные выписываю. Сам видишь.

Но в таком случае, откуда ему знать, что именно вот так – плохо? Плохо, еще раз, повтори. Да, он знал, знал, но я это понял только спустя годы.

Я ходил к нему, наверное, месяцев восемь, но, в конце концов, потерял охоту. Начал ходить как попало, а он изо дня в день сидел на складе до самого вечера и ждал меня. Почему вчера не был, почему позавчера не пришел. Четыре дня тебя уже не было. Последний раз на прошлой неделе был, а я здесь все время жду.

Я объяснял, что авария, с ремонтом никак не можем справиться, пару дней нам еще нужно. Это, опять же, нас дольше обычного на стройке задержали, потому что что-то там. Что на прошлой неделе аккорд выполняли, потому как план нужно догнать. Выдумывал причины, а он их принимал как бы со снисходительностью:

– Ну, так это на стройке. Ну, так это на стройке. Так-так, – но вдруг через какое-то время спросил: – Как там, догнали план?

– Э-ээ, – я пробормотал.

– План, может, и догонишь, но себя – тебе будет труднее, – и словно оттенок упрека прозвучал в его голосе.

Как-то пришел я, а до того не был у него только один день, он и говорит:

– Видимо, я ошибся.

Укололо это меня, и я уже хотел сказать ему, что не буду больше приходить, как он снова заговорил:

– Ты не справишься, так долго и играть, и, одновременно, на стройке работать. Может, не сейчас. Но когда-то ты должен будешь выбрать. А сейчас тебе обязательно нужно написать заявление и уйти из этого оркестра. По крайней мере, пусть больше не портят тебя.

– Как уйти? – меня аж передернуло.

Он вскочил, начал шаркать по складу, таким возбужденным я никогда его не видел.

– А то играй, играй. Когда человек перерождается, то не видит дальше кончика своего собственного носа. Играй, играй. Любите аплодисменты, о, вы любите аплодисменты, независимо от того, кто вам бьет в ладони и за что. А еще вам за это сверхурочные дописывают.

И тем задел меня за живое. Я говорил пану, что дописывали нам ежедневно два часа сверхурочных. Но я совсем не из-за этого играл в том оркестре. Не из-за этого так выкладывался в школе, как мало кто из пацанов. Не из-за этого, отрывая от себя самое необходимое, откладывал на саксофон. Да, уколол меня в самое чувствительное место. И я вообще перестал приходить к нему.

Подумал: да сколько можно выслушивать, что это не так, да то не эдак. Плохо и плохо. Повтори и повтори. А нет, чтобы хоть раз меня похвалил. Еще говорит, из оркестра уходи.

Вышел от него, ни слова не сказал, но, скажу пану, кулаки так сжимал, что ногти до крови впивались в ладони. И несколько дней ничего у меня в работе не шло. Трансформатор сжег, я, электрик. Уходи из оркестра, говорит, все время, непрестанно это стучало у меня в голове. Уйти из оркестра. Когда этот оркестр был моей единственной надеждой. Не говоря уже о том, что с каждым разом нам сопутствовал все больший успех. Недавно пе-

ревели нас, в оркестре, на полставки, и только полставки у нас оставалось собственно на стройке. А все потому, что через несколько недель нам надо было играть на бале-маскараде для какой-то шишки со всей его свитой. Из стольких оркестров именно нас выбрали. Все считали это за большую честь. Не только для нас, как оркестра, но и для всего строительства, для его руководства и так далее.

По этому случаю дирекция купила нам новые костюмы, темные, в тонкую полоску, новые рубашки, галстуки, даже думали, не лучше ли бабочки, но тут мнения разделились. На этот раз каждый получил и туфли, черные, черные же носки, и по носовому платку на каждого. Хотели, как говорят, купить нам и плащи, всем одинаковые, потому что на дворе была осень, но уже исчерпали лимиты. Пан не представляет, как мы переживали за этот бал. Мы считали каждый день, что приближал нас к нему. А последнюю ночь перед тем, как за нами должны были приехать, почти не спали. Это была суббота. Приехал грузовик с брезентовым тентом, в кузове которого, по бортам стояли скамьи. Когда мы расселись на них, нам запретили высовываться из-под брезента. Правда, в нем были дыры, но раз запретили, то и через дыры выглянуть – никто не смел. Впрочем, двое военных сидели позади и их глаза все время были обращены на нас. Как только мы тронулись, брезент опустили, мы ехали, как будто в темном ящике.

Нам сказали, что езды – каких-то два часа. Не должно было это быть так уж далеко, но дорога... Вверх, вниз, ямы, ухабы, нас постоянно подбрасывало, трясло, скамейки сносило от бортов к центру, приходилось крепко держать инструменты в руках. Так что, когда доехали до места, уже прилично стемнело. Не знаю, что это было за здание. Большое, просторное и стояло в лесу, хотя, может, и в парке. Больше ничего не удалось увидеть. Тем более, осматриваться при выходе из машины нам не разрешили. Сначала нас повели по какому-то коридору в левом крыле, а уже из него ввели в небольшой зал. Здесь один из тех военных, которые нас привезли, доложил другому военному, с двумя звездочками на погонах, что оркестр доставлен, и сообщил о его готовности к игре. Тот приказал нам поснимать пиджаки, шляпы, повесить их на вешалки. У меня не было шляпы, только берет. Да, действительно, собирался купить. И купил. Как уже говорил, на первую зарплату на самой первой моей стройке, на которую я перешел с электрификации сельского хозяйства. Только нынешняя, это, пожалуй, была уже моя четвертая стройка, и я ходил в берете.

Мы, как нам приказали, поснимали. Из соседнего помещения сразу вышли двое в штатском, один из них – со списком в руках. Проверил наши имена, фамилии, вписанные у него на этом листе бумаги. Второй подошел к нашим головным уборам, шляпам, моему берету, пощупал их, заглянул в каждую шляпу, сжал в руках мой берет. Потом начали нас обыскивать, есть ли у нас что-то. Не знаю что, не говорили. Но у кларнетиста был перочинный нож, самый обычный перочинный нож. Пан ведь знает, как выглядит перочинный нож. Небольшой, в ладони бы поместился. Два складных лезвия, одно побольше, второе – поменьше, штопор, тоже складной, консервный нож, может, пилочка для ногтей, правда, за нее говорить не буду, не помню: были ли уже тогда перочинные ножи с пилочками для ногтей. И этот нож заставили оставить, мол, отдадут ему после бала. Сердце у меня остановилось, когда один из этих штатских вдруг спросил другого:

– Саксофон должен был быть?

И тот, другой, сразу же вышел в соседнюю комнату. Сидел там и сидел, так мне, по крайней мере, показалось. Правда, когда страх, а не часы, отмеряет время, даже мгновение может превратиться в бесконечность. Он вернулся, кивнул, но я даже не почувствовал облегчения, холодный пот меня прошиб. Посмотрели внимательно все инструменты. Потрясли скрипку, не грохочет ли в ней что-нибудь, постучали в барабан, все ли в нем в порядке с эхом, не мешает ли ему что-то, у меня посмотрели в раструб саксофона. Потом спросили, привезли ли мы список мелодий, которые собираемся играть. Как не привезли, если задолго до этого от нас потребовали, чтобы привезли такой список. Дали им его. А привезли ли мы для этих мелодий ноты? Или к какой-либо мелодии слова? Нам не сообщали, что кто-то из нас будет петь, поэтому мы удивились. Они объяснили, что это не их

дело. Естественно, ноты мы привезли, хотя и так, на память, знали то, что обычно играли. Но несмотря на это ноты брали с собою и использовали в работе, потому что когда оркестр играл по нотам, это выглядело солиднее.

Дольше всего нас с этими нотами держали. Просмотрел один, дал другому. Этот другой, казалось, будто понимает в нотах, потому что по порядку пересматривал лист за листом, и по глазам было видно, что его взгляд скользил по ним сверху вниз. Два, три листа даже зажал у себя между пальцами, после чего опять вышел в соседнюю комнату и долго не возвращался. Теперь это уже действительно было долго. Мы подумали, может им что-то не нравится, несмотря на то, что мы подобрали только такие мелодии, которые играли уже на многих вечеринках, в разных домах культуры.

Наконец-то вернулся. Отдал нам ноты. Сказал, все в порядке. Ни одна мелодия, как оказалось, не попала под запрет. Ознакомившись с тем, что нам вернули, когда выяснилось, что все в порядке, мы увидели: на каждом листе, сверху, от руки было написано – «одобрено» и чья-то неразборчивая подпись. Этот военный со звездочками сказал – идем. И повел нас по одному, другому коридору в банкетный зал. Перед дверью он приказал нам остановиться и сначала сам вошел. Не знаю, почему. Может, чтобы там кому-то доложить, что оркестр уже у дверей. На каждом шагу один другому докладывал. Пан бы и шагу ступить не смог, если бы один другому не доложил, что пан, мол, тут.

Один из тех военных, что приехали за нами, велел садиться в грузовик и потом сидел позади нас в кузове, следил за нами, а до этого выстроил нас в ряд, после чего другому военному, который сидел в кабине водителя, доложил о готовности оркестра к выезду. И только после этого поднял сзади клапан брезентового тента и приказал нам садиться. Вот он через минуту вышел из этого бального зала, установил нас в ряд, согласно инструментам: скрипка, альт, кларнет, горн, тромбон, ударник и я, саксофон. Не знаю, может, потому, что я был самым молодым, может, из-за саксофона.

На входе мы должны были что-то сыграть, и только после этого пройти на место для оркестра. А теперь пусть пан представит себе, входит он в большой разукрашенный огнями зал, серпантины, воздушные шары, но пан не видит людей, только маски. Кто-то кричал:

– Браво, оркестр!

Раздались громкие аплодисменты, а кто-то, уже после аплодисментов, еще пару раз добавил:

– Браво! Браво!

Оказалось, мы опоздали. Но ведь не по нашей вине. Скажу пану, нет, я не знал, как это понимать. Нас здесь ждут, мы должны играть, они – веселиться, а эти нас проверяют и за это им – ничего. Я и подумал, неужели эти более важные, чем те, которые здесь, в зале? Потому что из-за них мы опоздали, они нас так долго держали. Может, поэтому у них и масок нет, а те, что здесь, все в масках.

Бал как бал. Ничем бы не отличался от обычной вечеринки, если бы не эти маски. Одни танцевали, другие выходили в соседнюю комнату, где, как можно было догадаться, пили, ели. Видеть не видели, у двери стоял какой-то штатский, и после каждого сразу дверь закрывал. Но когда возвращались, мало кто твердо стоял на ногах. И так по очереди танцевали, выходили. Ели ли они, пили ли в масках, не скажу пану. Нас туда, на ужин, не пустили. Нас отвели в другой зал, где опять же доложили, что мы пришли на ужин, в числе семи человек. И семь порций принесли.

Первый раз видел, чтобы люди веселились, танцевали в масках. Я просто не мог в это поверить. Все они – мужчины, женщины, были в одинаковых, словно под копирку, масках, которые закрывали им лица от подбородка до лба, с отверстиями для рта, носа, глаз, поэтому могло даже показаться, что вместо лиц у них – одни отверстия.

Потом, за границей, играл на многих маскарадах, но там у каждого была своя, особенная маска. Даже в маске каждый хотел отличиться. Не говоря уже о том, что все маски различались цветами, искрились золотом, серебром. И формы были разные: звезды, луна,

сердца. Или чтобы прикрывали только глаза, или глаза и нос, но оставляли неприкрытым рот, или полностью закрывали все лицо. К тому же и наряды разные. А здесь и наряды у всех были одинаковые, в любом случае, мало чем отличающиеся друг от друга. И маски в одном, черном, цвете.

Мне было интересно, как можно танцевать в таких масках. Ни улыбнуться друг другу, ни удивиться, ни сделать какую-то гримасу через эти узкие отверстия, похожие на щели. Говорить, может, и могли, но и голос через такую щель – никогда не поймешь, чей это может быть голос. И в танце ведь иногда надо прижаться лицом к лицу партнера. А как? Может, поэтому все чаще и чаще выходили в тот зал, где они ели, пили. И все больше и больше пошатывались, когда возвращались. Некоторые уже едва держались на ногах. Порою на паркете хорошо, если оставались две, три пары, а большинство там ели, пили. Там становилось все громче, а мы тут играли этим двум, трем парам. Бывало, что не оставалось ни одной пары, но мы играли.

Во время одного из последних перерывов я пошел в туалет. Услышал, что кто-то в кабинке рядом, сбоку от меня. В этом не было бы ничего необычного, только я услышал, что кто-то говорит, словно обращаясь к кому-то другому. Я прислушался, невнятно говорил, бормотал, видно, уже сильно поддавши, подумалось мне. Удивило меня, что этот другой, к которому обращались, ничего не говорил. Стенки кабинки не доходили до самого пола, поэтому, когда я наклонился, то удивился еще больше, потому как увидел только одну пару ботинок. Не лакированную обувь, обычные ботинки на шнурках.

– И что, мы построим новый, лучший мир, как думаешь?

Но к кому это обращаются? Правда, иногда можно и себе самому сказать, что и как ты думаешь. Правда пана, охотнее всего человек разговаривает с самим собой. По-моему, даже когда с кем-то разговаривает, по сути, разговаривает с самим собой.

В любом случае, любопытно мне стало. Тем более, он что-то говорил о том новом, лучшем мире, в который я верил. Вдруг повысил голос и почти закричал:

– Чушь! Ни мы, ни они! Все это чушь, мой дорогой.

Я встал на унитаз, схватился руками за верх стенки, осторожно подтянулся, где-то до подбородка, чтобы глаза оказались выше стенки и... Что я вижу?

Стоит кто-то над унитазом, но сам-один. Маска у него была сдвинута на макушку, так что сверху я только эту маску и видел. Тем более, он стоял наклонившись и качался, а еще, опираясь на руку, смотрел куда-то вниз и как бы про себя бормотал:

– Социализм, капитализм, все ни черта не стоит. Ты – сила. На тебе мир стоит. Хотя, что ты? Ну, что ты? Сидишь себе в штанах. Место тихое, уютное. Можно было бы сказать, пристань. Иногда, и сам бы туда убрался, если бы мог. А есть от чего. Да, есть от чего. Ну, расслабься, отлить не могу.

Пусть пан меня простит, но между нами, мужчинами, я это говорю. При женщине никогда бы не сказал. Я хотел увидеть его лицо, но он, увы, так ни разу и не взглянул вверх. Даже как бы еще и больше наклонился. Правда, и по лицу навряд ли я бы узнал – кто это. Я ведь даже не знал, где мы, где мы играем, для кого, кто все те, которые веселятся, потому как все в масках. Еще привезли нас под брезентом и не позволяли высовываться из-под него. Ладони, которыми я держался за верх стенки, начали гореть, руки ослабели.

Я так же осторожно, как и подтягивался, опустил сначала на унитаз, а уже с него тихонечко-тихонечко – на пол. Подумал, может, слить воду, чтобы он узнал, что кто-то рядом. Но любопытство сдерживало меня. Пан и сам видит, что трудно даже о себе что-то предположить, ну а тем более сказать, как другой человек поведет себя в такой-то или в такой ситуации. И я решил, что только откашляюсь. Откашлялся, но это ничего не дало. Он даже как бы повысил голос:

– Эх, вот у тебя – жизнь. И если слаб ты, то наибольшее – от одной юбки до другой. А как одряхлеешь, никто тебя отсюда не выгонит. Дай нам всем, только я уже не скажу кто, такое пожизненное заключение. А я, видишь, даже в завтрашнем дне не могу быть уверен. Не могу быть уверенным ни в чьих словах. Все в масках, поди догадайся, какие слова чьи.

Какие из них и что значат. Это? То? Какие – приговор, а какие – просьба. Остерегаться нужно каждой маски. Что, куда ты смотришь? Может, в будущее? У тебя же нет глаз. Меня хотел бы увидеть? Не стоит.

Да, вот, стою над унитазом и из-за тебя не могу выссаться. Слишком много, скажу я вам, человек должен думать. Но не обо всем, знаете ли. Потому что, если бы ты знал. Иногда жить не хочется. Но это, куда там – тебя не волнует. У тебя только одно в голове. Хотя это, как бы, и моя голова. Но, по правде сказать, разве она моя? Почему моя? Только потому, что ношу ее на своей шее? О, это еще не доказательство, что моя. Тебя тоже ношу в брюках, а ты мой? Как-то не почувствовал этого.

Скорее, я твой. Подвешенный к тебе, чтобы было кому тебя носить, перекладывать, вынимать, поддерживать, прятать и так далее. Может, лучше было, если бы мы были по отдельности. Как думаешь? И так ведь, только время от времени – вместе. Может, тогда захотелось бы мне чего-то еще, кроме этого. Потому что не такое уж это, как тебе кажется, удовольствие – с утра и до самого вечера быть мужчиной. Может, для тебя. Но что там тебе. Отхлещешь себе и счастлив, а остальным уже я должен, потом все на мне. Не говоря уже о том, что у меня и другие обязанности. Конференции, заседания, собрания, совещания. И все время – с одного на другое, с другого на третье, четвертое, и так – весь длинный день, а бывает, и ночь. Частенько даже забываю, что ты есть. Вот такая она, моя жизнь. Можно было бы сказать – противоречие само в себе. Ты знаешь, что это – противоречие само в себе? Это, как будто ты и я – это единство. А это – чушь на рессорах. Если бы и тот, новый, лучший мир должен был бы так выглядеть, то лучше бы меня в нем не было. А может, меня в нем уже и нет, как думаешь? Что с того, что счастье? Это не доказательство существования. И, как видишь, без твоего разрешения даже этого я не могу. Ну, расслабься. Эх, ты, ты... Знаю, знаю, чего тебе захотелось. И даже понимаю тебя. Но опомнись. С какой-то маской? А ты знаешь, кто может быть под этой маской? Не знаешь. И я не знаю. Сдержись. Мы должны этот бал как-то пережить.

Я спустил, наконец, воду и вышел из кабинки. Он вышел сразу же за мной, но уже с маской на лице.